

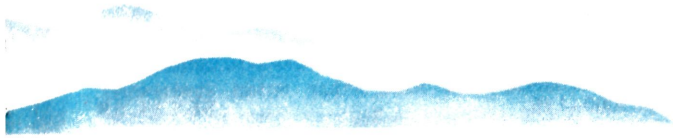
МОСКВА
"РАДУГА"
1985

ПЕРЕВОД
С ЯПОНСКОГО



Тэцуо Муура

**БЛУЖДАЮЩИЙ
ОТОНЕК**



ББК 84.5Я
М 67

Составление и перевод Г. Ронской
Предисловие В. Гришиной
Редактор Е. Руденко

М 67 **Миура Т.**

Блуждающий огонек: Сборник./Пер. с япон.
Г. Ронской; Предисл. В. Гришиной. – М.: Радуга,
1985. – 176 с.

Писатель-традиционалист, Миура поднимает проблемы, волнующие современных японцев: горькие итоги второй мировой войны, распад патриархальной деревни, одиночество человека в капиталистическом обществе и т.д. Его творчество реалистично и пронизано гуманистическими идеями. Особенно характерны для произведений Миуры лиричность и тонкий психологизм.

М $\frac{4703000000-176}{030(05)-85}$ без объявления

ББК 84. 5Я
И (Япония)

©Tetsuo Miura, 1976
Tetsuo Miura, 1978

© Составление, предисловие и перевод на русский язык
издательство "Радуга", 1985

Новеллы Тэцуо Миура: традиция и современность

Лучшие образцы литературы Японии по праву завоевали сердца читателей всего мира. Будучи неотъемлемой частью духовной культуры Страны восходящего солнца, они покоряют своей удивительной глубиной и самобытностью. Хорошо известны они и в Советском Союзе, чему способствовали многолетние культурные связи между нашими странами.

Однако диапазон японской литературы чрезвычайно широк, и разобраться в ней не так-то просто. Особенно пеструю картину представляет собой литература XX века. Кого только не было на ее горизонте! Практически все веяния, которые пережила западная литература, испытали и японские писатели: натурализм, дадаизм, неосенсуализм, экзистенциализм, множество других модернистских и авангардистских направлений – через все это прошла японская литература. Но время отсеивало плевелы. И в результате, как это ни парадоксально, самой устойчивой и неизменно притягательной оказывалась литература, сохраняющая живительную связь с национальной эстетикой.

Следование литературной традиции отличает и автора предлагаемой книги – Тэцуо Миура, который недаром считается преемником Ясунари Кавабата, блестящего стилиста, возродившего в литературе XX века традиционную и такую поэтичную манеру воспринимать и описывать вещи в их неповторимой очаровательности.

Начало творческой деятельности Тэцуо Миура относится к середине 50-х годов – тому периоду, когда Япония, освободившись после заключения Сан-Францисского мирного договора от американской оккупации, приступила к восстановлению своей экономики. Поворотным моментом в ее послевоенной истории явилась война, которую в то время США вели на Корейском полуострове: нажившись на военных заказах, Япония смогла от разрухи перейти к высоким темпам экономического роста. В стране начиналась эпоха научно-технической революции.

Вместе с поворотом к экономической стабильности и материальному благополучию в общественно-политической жизни Японии обнаружился поворот к традиционализму. Если в войну и послевоенную разруху жизнь нации протекала в экстремальных условиях, то теперь возникло ощущение возврата "старого доброго" довоенного времени. Не случайно в литературе – в творчестве молодых писателей – наблюдалось возрождение существовавших прежде методов и жанров, таких, как эгобеллетристика, натурализм и т.п.

Тэцуо Миура завоевал признание повестью "Река терпения", появившейся в 1960 году и отмеченной премией Акутагава. Молодому автору было тогда двадцать девять лет. Написанная в спокойной, традиционной манере, повесть прозвучала резким диссонансом по отношению к модернистским произведениям, задававшим в то время тон в японской литературе. Однако, несмотря на традиционную форму и манеру письма, повесть Миура содержала отнюдь не традиционные идеи. Рассказанная в ней история любви и женитьбы студента на девушке, выросшей в квартале публичных домов, но сохранившей среди окружающей грязи душевную и физическую чистоту, оспаривала правильность установившихся в Японии взглядов на брак и семейные отношения. Творческое мужество писателя, не побоявшегося упреков в "старомодности" по части формы и осмелившегося посягнуть на социальные стереотипы, завоевало ему симпатии читателей. "Река терпения" была тепло встречена и критикой, отметившей свежесть и стилистическое совершенство этого произведения.

Появлению повести предшествовали пять лет упорного труда, учебы у классиков мировой литературы и известных японских писателей. "После окончания университета, стремясь утвердиться на литературном поприще, я в течение нескольких лет жил в ужасающей бедности, – писал Миура, вспоминая об этом периоде своей жизни. – В конце концов я подорвал здоровье и, покинув столицу, стал жить в деревне. В то время я по нескольку раз перечитывал новеллы писателей, полюбившихся мне еще в студенческие годы: Ибусэ Масудзи, Дадзая Осаму, Чехова, Мопассана, Ренара, Филиппа".

Перечень имен писателей, избранных Тэцуо Миура в качестве учителей, весьма показателен и свидетельствует о стремлении японского прозаика наследовать гуманистические традиции мировой литературы.

Тэцуо Миура начинал как эгобеллетрист. Его ранние работы написаны на материале личного опыта. Трагические события, происшедшие в семье Миура: самоубийство двух его старших сестер и исчезновение старших братьев, — оставили глубокие, болезненные следы в сердце будущего писателя и легли в основу многих ранних новелл. Обычно их герои — слабые, легкоранимые люди, прибегающие к смерти как к средству решения жизненных проблем.

Однако на мировоззренческие установки Миура, помимо семьи, наложила отпечаток сама эпоха, наполненная войной, разрушениями и смертями. Автобиографическая новелла "Я в пятнадцать лет и мое окружение" дает ключ к пониманию того, как формировалось мировосприятие поколения, к которому принадлежал Миура. Он встретил окончание войны пятнадцатилетним подростком — в том возрасте, когда происходит становление человека и его душа особо ранима и восприимчива. Впечатления этой поры обычно остаются на всю жизнь.

"Я вспомнил себя в годы войны, и сердце мое защемило от боли. Сколько же молодых людей пошло на смерть вот так, беспечно, будто отправляясь на пикник!" — в этих словах заключена основная идея рассказа. Описав восприятие японским подростком последних дней войны и поражения, писатель обличил бессмысленность и трагизм бойни, унесшей жизни многих юных японцев, которые с истинно восточной невозмутимостью приняли смерть. Жизнь человека — слишком дорогой дар, чтобы расставаться с нею во имя ложных идеалов. Таков гуманистический пафос рассказа. Тема юности, загубленной войной, звучит в одной из лучших его новелл — "Блуждающий огонек". Действие происходит два года спустя после войны. Война кончилась, но страдания, порожденные ею, не изжиты, она собирает свой урожай жертв и в мирные дни. С грустной симпатией рассказывает Миура историю робкой юношеской любви сына

рыбака Отодзи к Сима, дочери хозяина харчевни. Зародившееся еще в детские годы чувство вновь вспыхивает в душе Отодзи, когда он, уже солдатом, попадает в госпиталь и после многолетней разлуки встречается там Сима, ставшую медсестрой. Ни армейская муштра, ни зверства командира, ни военные лишения не смогли уничтожить душевное тепло молодого человека. Растроганная, дарит ему свою ответную любовь Сима.

Духу человеческой привязанности в рассказе противопоставлен дух войны, разрывающей все связи, коверкающей людские судьбы и безжалостно уносящей тысячи жизней. Писатель на собственном опыте пережил военное лихолетье, так что тема войны не могла оставить его равнодушным. "Я был в третьем классе средней школы, когда закончилась война, — писал Миура. — Однако и по сей день меня волнует судьба юных солдат, бывших чуть постарше меня, но отправленных на поле боя и сложивших там свои головы. Продлись война еще три года, и мне бы, так же как и им, была уготована короткая жизнь. И в этом смысле каждый из них — я сам".

Жертвами войны становятся и герои "Блуждающего огонька". Тяжело больной туберкулезом Отодзи (его болезнь — результат тяжелой травмы, нанесенной ему командиром во время тренировочных занятий по штыковому бою), сопровождаемый Сима, приезжает в заснеженную глухую деревушку на берегу горного озера, где в гостинице, принимающей в летний сезон туристов, должна работать его сестра. Но сестры нет, она уволилась и уехала. В поселке пусто и тихо. Тихо настолько, что герою слышится, как падают снежинки. Этот холодный, отрезанный от остального мира снежными заносами край становится последним пристанищем в столь короткой, но полной невзгод, загубленной жизни молодых людей, рожденных для любви и счастья. И здесь Тэцуо Миура показал умение изображать любовь удивительно целомудренно и проникновенно. Своим творчеством Тэцуо Миура отчетливо противостоит характерной для писателей-модернистов тенденции концентрировать внимание на патологических отклонениях человеческой природы.

Герои его новелл сохраняют в себе душевное тепло и доброту, хотя жизнь, казалось, оставляет мало места для проявления гуманных чувств.

Герои Миура, как правило, не находятся в эпицентре социальных катаклизмов, классовых схваток, но историческое время присутствует в его новеллах, оно вносит свои немоллимые поправки в судьбы героев.

Открывающий сборник рассказ "Пресс-папье из окаменелого угря" не изобилует событиями. В спокойной, мягкой манере Миура повествует о нескольких днях молодого горожанина, решившего поискать окаменелости в горах, в местечке, где расположены целебные источники Тохоку. Поездка к источникам – один из традиционных видов отдыха жителей Японских островов. Вот и герой рассказа останавливается в гостинице, уже много лет содержащейся членами одной семьи и переходящей из поколения в поколение. Когда-то она процветала, и в воды расположенного рядом источника погружались знаменитый поэт XVII века Мацуо Басё и народный поэт, уроженец этих мест Исикава Такубоку. Однако в послевоенное время дела гостиницы пришли в упадок, появились конкуренты. Богатые дельцы, спекулянты рисом, вложили деньги в новые гостиницы. Построенные с размахом, со специально оборудованными смотровыми площадками, "массажными" кабинетами, обслуживаемыми девушками в бикини, они переманили большую часть клиентов у старой гостиницы.

Грустью пронизан рассказ хозяина гостиницы, сетующего постояльцу – искателю окаменелостей – на пруть беззастенчивых конкурентов. Грустью веет и от самого рассказа Миура. Грустью и печалью об уходящей Японии, уступающей место новой – модернизированной по западным образцам. Но все эти размышления приходят потом. Писатель же в первую очередь хочет рассказать о человеческой доброте и корысти, о том, как трудно бедняку проявлять добро.

Еще более горек рассказ "Родина в горшке овальной формы", посвященный отчужденности людей в условиях современной урбанистической цивилизации. Герои рас-

сказа – юноша и девушка из одной деревни северо-восточного края Японии, приехавшие в Токио искать счастья, но так и не нашедшие его. Меняет одно место за другим девушка Миса, вынужденная в итоге заниматься сомнительным ремеслом "девицы из бара". Прозябает на черной работе юноша Кохэй, искалечивший на фабрике руку. Город враждебен им – детям деревни, детям природы. Мало того, даже между ними он посеял семена разобщенности. "Дети природы" в городе утратили корни, поэтому столь тягостно их потерявшее смысл существование. Но человек есть человек. Ему нужно если не обрести душевное равновесие, то хотя бы просто утешить себя чем-нибудь. И вот Миса не расстается с кошкой, которую она котенком вывезла из дому. Кохэй в свою очередь проводит свободное время за разглядыванием бонсай – рощицы из миниатюрных деревьев, уместающейся в обычном цветочном горшке. Рощица напоминает ему ландшафты родной деревни.

Однако и кошка, и бонсай – всего только суррогаты корней. За ними не спрячешься от жестокостей окружающего мира. Гибнет, отравившись газом, Миса. Узнав о ее смерти, исчезает Кохэй. Очень выразительна финальная метафора рассказа. На одном из деревьев бонсай раскачивается, колеблемая ветром, маленькая бабочка. "...Никто не заметил, – пишет Миура, – что это была вовсе не бабочка. Там висел мертвый Кохэй". И не важно, что взрослый мужчина не может повеситься на тонкой ветке, – лишить себя жизни можно как угодно. Важно, что Кохэй действительно ушел из жизни. А бабочка? Пожалуй, бабочка – это его душа, душа простого деревенского парня, погибшего от одиночества в каменных джунглях гигантского города, где так много людей и где все они так разобщены.

Еще в начале нашего века народный поэт Исикава Такубоку – земляк героев новеллы "Родина в горшке овальной формы" – в одном из своих пятистиший с тревогой писал о судьбе молодых людей, покидающих в поисках счастья родной край:

Как горько слышать мне,
Что эти дети,
Еще вчера мои ученики,
Уж скоро тоже
Родину покинут!¹

Тема упадка японской деревни, оставляемой молодежью ради города, звучит в поэтическом, похожем на песню рассказе "Красная юбка". В центре этого очень японского по духу рассказа – несчастная судьба сельской девушки Хидэ, страстно жаждущей любви, но вынужденной из-за болезни матери прозябать в глуши. В опустелой деревне, как и в соседних селениях, уже не осталось молодых мужчин. Некому любоваться красотой героини, а ей некому предложить свое юное сердце. Измученная тоской, отчаявшаяся, Хидэ убивает себя. Грустное чувство вызывают стихи девушки, написанные ею накануне самоубийства, с трогательной откровенностью объясняющие причину рокового поступка.

Женскому одиночеству посвящен и рассказ "Пчела". Его героиня живет в маленьком поселке практически без мужа, все время пребывающего на заработках в городе и постепенно отвыкающего от собственной жены и ребенка. В ряде новелл писатель отмечает постепенную эрозию семейных отношений в Японии.

Следует подчеркнуть, что Миура очень национальный писатель. Совсем не динамичный, ведущий повествование в неторопливой манере, обращающий внимание на самые разные, на первый взгляд незначительные, детали, он тем не менее исподволь завораживает читателя, осторожно и незаметно погружая его в атмосферу духовной жизни японцев. И хотя писательская палитра Миура достаточно богата, он может достичь желаемого эффекта чрезвычайно скудными средствами. Например, в небольшом по объему рассказе "Револьвер" писателю удалось показать специфику психологии японца, в частности его отношение к смерти. Герой рассказа – сын деревенского самурая, отец двух дочерей, покон-

¹Перевод В. Марковой

чивших самоубийством, и двух скрывшихся из дому сыновей – постоянно хранил у себя револьвер, причем за долгие годы ни разу им не воспользовался. Но зачем тогда нужно было ему оружие? Оказывается, как это ни парадоксально, воля к жизни у героя рассказа поддерживалась именно сознанием, что он в любое время может покончить с собой. И лишь благодаря этому отец семейства смог пережить предательство своих детей и находил мужество в тягчайших испытаниях.

Считается, что одной из характерных, специфически национальных черт японской новеллы является отсутствие ударной концовки. Большинству новелл Миура, написанных в русле традиционной эстетики, свойственна недоговоренность. Как и в классических формах поэзии, автор ставит задачу побудить читателя к сопереживанию, раздумью, не навязывая ему своих чувств. Особый интерес представляет очень японский по духу рассказ "Пантомима". В нем Миура дает как бы два плана изображения. С одной стороны – реалистическое описание будней девятилетней девчушки Моё, живущей на территории завода, неподалеку от моря. Мать Моё работает на этом заводе, а в свободное время вынуждена улаживать своего шефа. Отец пропадает на заработках и дома почти не бывает. В рассказе слышны нотки тревоги Миура за будущее таких детей, лишенных родительского внимания и тепла. Озабоченные насущными проблемами, родители заняты собственными делами, детям же предоставлена почти полная самостоятельность. Вот и маленькая героиня "Пантомимы" любит проводить время, играя в "чудесном сером лесу" железобетонных конструкций.

Второй план изображения в рассказе – типично японский, с явственно звучащими традиционными для литературы этой страны нотами. Это описание самоубийства приехавшей к морю пары, данное сквозь призму восприятия ребенка. Мы не знаем, кто эти люди, что побудило их к подобному шагу. Наблюдая за ними глазами Моё, мы можем лишь констатировать, что они молоды и любят друг друга. Судя по всему, совместная жизнь для них невозможна, ибо решение броситься с высокой скалы свидетельствует о крайней степени их отчаяния.

Но Миура, собственно, не интересуют причинно-следственные связи, логика событий. Он просто зафиксировал кусок жизни, вырванный из ее потока, предложил нам отрывок без начала и с трагическим концом.

Отмечая достоинства дарования Миура, мы до сих пор не упомянули еще одну важную особенность творчества этого прозаика – его народность, проявляющуюся в искреннем интересе к быту простых тружеников Японии: жителей городов и деревень, обитателей пригородов – полугорожан, полукрестьян. Кого только нет в пестром ряду героев Миура! Тут и конюхи, и плотники, и пожарники, и мелкие торговцы, и ремесленники-мастеровые. И хотя писатель далек от идеализации их быта, сохраняющего патриархальные черты, чувствуется, что эти люди ему близки. Показывая их трудолюбие, терпеливость, скромность и отзывчивость, Миура воспекает тем самым душевное здоровье и нравственную чистоту своего народа. Деревенский уроженец, Миура с детских лет проникся живительным духом народной культуры и испытывает симпатию к простым японцам. "Наверное, потому, что я вырос в деревне, я питаю глубокую привязанность ко всему, связанному с землей, и, видно, поэтому люблю писать о людях полей, незаметно проводящих свои дни в глухих деревенских уголках", – писал Миура в послесловии к одному из его сборников новелл.

Произведения писателя, посвященные сельским жителям, действительно хороши. Чистой свежестью веет от их страниц... Первой пробой Миура в области "деревенской прозы" стала новелла "На пастбище". По признанию автора, это одна из наиболее любимых его работ.

Рассказ "На пастбище" включен в настоящий сборник, и читатели сами смогут по достоинству оценить прелесть этой колоритной зарисовки, проникнутой духом первозданного единства, гармонической слитности с матерью-природой всего живого на земле, духом глубокой причастности человека к окружающему миру. Писатель рисует картины будней конезавода, расположенного в полях за городской чертой. Просторные, напоенные запахом трав луга. Кони – красивые, горячие. Спокойные люди, ухаживающие за ними,

которые ведут размеренный, неотделимый от окружающей природы образ жизни, на редкость простой и естественной.

После прочтения этой новеллы остается ощущение чего-то очень настоящего, очень чистого, ощущение подлинной жизни.

Nabent sua fata libelli. Книги имеют свою судьбу. Книги Тэцуо Миура известны и любимы в Японии. Будем надеяться, что и этот сборник новелл, впервые издаваемых на русском языке, найдет своих читателей в нашей стране.

В. Гришина



**Пресс-папье
из окаменелого
угря**

У меня есть одна окаменелость.
Тонкая палочка длиной около сяку¹.
Это окаменелый угорь. Ни рта,
ни глаз, никакого подобия плавни-
ков. На вид обыкновенная каменная
палка. И если бы хозяин Красной
гостиницы не объяснил мне, что это

¹Сяку – мера длины, 30,3 см.

окаменелый угорь, я бы сам и не догадался.

Подарила мне его одна девочка из Тохоку, а переслал хозяин Красной гостиницы. Это гостиница на горячих источниках в Асино, в горах Тахоку, у отрогов хребта Китаками. Горячие источники Асино издавна славятся своими водами, излечивающими всякие прыщи.

Несколько лет назад я побывал на этих источниках. Но ездил я туда не для того, чтобы подлечить какие-то там скверные прыщи. Я хотел найти окаменелость. Окрестности Асино известны залежами окаменелостей. Вероятно, в древние времена там было дно моря. В Асино выкапывают из земли исключительно морских животных. Попадаются главным образом раковины, а также окаменелые креветки, крабы, а иногда и черепахи. И все они имеют возраст двадцать миллионов лет.

Я отправился в путешествие с одной-единственной целью: хотел найти окаменелого краба с панцирем величиной с дамскую пудреницу.

Однажды вечером, сидя в закуской-сирукоя¹ в своем родном городке, я увидел там украшение из окаменелостей — на ровном камне панцирь к панцирю сидели рядышком два маленьких краба. Рассеянно разглядывая этих крабов, я подумал: "Вот крабы-супруги вышли на прогулку". И тут я заметил, что путь им преграждает небольшое возвышение, величиной с мизинец. Приглядевшись, я решил, что это, пожалуй, клешня еще одного краба. А если у этого краба была такая большая клешня, то панцирь его был не меньше дамской пудреницы. "Вот бы найти такого краба! — подумал я. — Раз уж существует такая окаменелая клешня, то можно выкопать и целого краба".

— Сколько лет этой окаменелости? — спросил я у хозяйки закуской.

¹ Сирукоя — закуская, где подают суп из красной фасоли с клецками.

— Двадцать миллионов, — ответила она.

— Вот это да! — У меня даже закружилась голова от такой древности. Я спросил, где она эту вещь достала.

— У антиквара, — сказала хозяйка.

— А антиквар где взял? — поинтересовался я.

— На горячих источниках Асино, — был ответ.

В то время по непредвиденным обстоятельствам я покинул Токио и жил с матерью в провинциальном городке без всякого дела. И, как водится с беглецами в провинцию, все время с ужасом думал, что надо бы срочно чем-нибудь заняться. Тут мне и пришло в голову, что можно было бы отправиться на горячие источники Асино — поискать окаменелого краба. Искать окаменелости возрастом двадцать миллионов лет, да еще в общении с природой, — разве это не подходящее занятие для человека, выброшенного из несусветной городской суеты? К тому же, если я выкопаю большого краба да снесу его к антиквару, норэн¹ которого красуется у моста, я же могу получить за него кучу денег, более чем достаточную для того, чтобы снова встать на ноги.

Через неделю, нахлобучив себе на голову выцветшую охотничью шапочку, я отправился на горячие источники Асино новым искателем древностей.

От станции К. железной дороги Тохоку надо было сорок минут ехать на автобусе, затем около получаса трястись по ущелью в повозке. Повозка была крыта выцветшим тентом, возница и лошадь дряхлы, и все же охотничий рог старого возницы несколько раз протрубил и отдался эхом в ущелье. На голове возницы была поношенная панاما, а поверх нее полотенце, завязанное под подбородком. На полотенце красовался иероглиф "Тамэ". Тот же иероглиф

¹Норэн — занавес, бамбуковая шторка перед входом в магазин с изображением торгового знака предприятия.

был изображен и на спине куртки, наброшенной поверх черного платья. Я решил, что Тамэ — имя возницы, и спросил у него:

— Сколько гостиниц на источниках?

— Три, — сказал Тамэ-сан.

— А в которой поскромнее?

— В Красной гостинице, — не раздумывая ответил он. — Там только хозяин, хозяйки нет. А когда в доме нет хозяйки, особых церемоний не требуется. И он громко засмеялся, запрокинув голову.

— Но, очевидно, есть горничная? — предположил я.

— Нет у него никакой горничной. Как это можно держать горничную, коль хозяйки нет?

— Как же он управляется один?

— Да так уж... — Тамэ-сан оборвал себя на полуслове, потом нехотя добавил: — Приедете — сами увидите. Как бы там ни было, это гостиница на горячем источнике.

Выехав из ущелья на равнину, возница остановился перед речкой, преграждавшей повозке путь. Через речку был переброшен всякий мостик. По нему можно было пройти на горячие источники Асино.

На мосту стоял человек странного вида. Хотя дело шло к лету, на нем была красная вязаная шапочка, клетчатое юката¹, подпоясанное красным поясом, на ногах гэта² с красными шнурками.

”Не иначе как сумасшедший”, — подумал я, но Тамэ-сан весело крикнул с облучка:

— Эй, хозяин! Гостя привез.

Станный мужчина побежал по мосту, стуча по доскам своими гэта, взял скамеечку у входа на мост и поставил ее к повозке, чтобы мне удобнее было слезть.

— Красная гостиница. Добро пожаловать!

¹Юката — легкое летнее кимоно.

²Гэта — японская национальная обувь на высокой деревянной подошве.

Он снял шапку, обнажив седеющую плешивую голову. Видимо, хозяин Красной гостиницы служил одновременно и зазывалой.

Речка не журчала тихонько, а стремительно неслась вперед. Мы пошли вниз по течению вдоль горной тропы, скользкой от водяных брызг, и вскоре оказались у ветхого здания Красной гостиницы, прилепившегося на выступе скалы, прямо над быстрым потоком. Горная речка наполовину подмыла скалу под гостиницей. Впадала она в широкую реку, протекавшую тут же, у подножия горы, и горячий ключ бил, видимо, из песчаного берега.

Я поселился в Красной гостинице, записавшись в регистрационной книге как "ученик антиквара". Хозяин гостиницы, прочитав мою запись, сказал:

— Хо-хо! Молодой, а какую редкую профессию имеете.

Мне не хотелось объяснять ему всех обстоятельств, я только спросил, не попадался ли ему на глаза в последнее время окаменелый краб с панцирем величиной с дамскую пудреницу для компактной пудры.

— А что это такое? — спросил хозяин.

Я понял, что разговор наш затянется, и предложил продолжить нашу беседу после того, как я приму ванну. Хозяин принес мне клетчатое юката и пояс — точно такие, как были на нем. Пояс, конечно, был красным. Полотенце тоже. Я невольно засмеялся.

— Я вижу, вы любите красный цвет, но не найдется ли у вас черного пояса? — спросил я.

— К сожалению, такого не держим, — сказал с явной гордостью хозяин. — У нас все красное. Даже салфетки в туалете и те красного цвета... Поэтому наша гостиница и зовется Красной.

"Ну и ну! — подумал я. — Даже салфетки в туалете красные. Вот это забота о лице предприятия!"

Купальня Красной гостиницы находилась внизу, на берегу реки. К ней вела извилистая лестница.

В густом и белом, как молоко, тумане светила маленькая, словно вишня, лампочка без плафона. В помещении не было разделения на мужскую и женскую раздевальню, не существовало и перегородок между раздевальной и купальной. Все было предельно просто.

Когда я сидел в вязкой на ощупь мутно-белой воде, в купальню спустился хозяин гостиницы в одних красных трусах и предложил мне потереть спину вместо банщика. Но я, кинув взгляд на его костлявое тело с выпирающими ребрами, решил отказаться от услуг.

— Не хотите ли принять ванну вместе со мной? — предложил я.

Он тут же согласился.

Мы уселись рядом на краю чана и некоторое время молча внимали шуму горной реки. Горячая вода по бамбуковому желобу, укрепленному на потолке, медленно стекала тонкой струей в деревянный чан, затем так же медленно бежала по бамбуковому желобу в нижний чан, служивший ванной.

— Значит, это и есть ваш горячий источник? — спросил я.

— Да. Раньше он не был таким. Нет, не был. Теперь вот и вода еле течет.

Хозяин Красной гостиницы горько усмехнулся. Судя по его рассказу, Красная гостиница стояла на главном источнике Асино. Из поколения в поколение их семья оберегала этот источник. В его воду погружались и знаменитый Басё, и Такубоку¹, и морской министр. Но после войны два односельчанина, разбогатевшие на спекуляции рисом, тоже открыли здесь гостиницы. Они так рьяно бурили берег реки, что в водоносном слое хребта что-то нарушилось, и горячий источник Красной гостиницы почти иссяк. А хо-

¹Мацуо Басё (1644–1694), Исикава Такубоку (1886–1912) — знаменитые японские поэты.

зьева новых гостиниц, имея деньги, процветают и переманивают к себе гостей. Нынешний гость предпочитает не старинную вывеску, а кафельную ванну. Хозяин Красной гостиницы из уважения к односельчанам, с которыми вместе вырос, не хочет идти на ссору. Придумал только, как выделиться: сделал все вещи в доме красными, соответственно названию гостиницы.

Сначала он, как бы невзначай, завел красные шнурки на гэта. Однако не прошло и трех дней, как две другие гостиницы тоже изменили цвет шнурков: Зеленая дача завела зеленые, а гостиница "Соколиное крыло" — коричневые. "Ах, вы так!" — возмутился хозяин Красной гостиницы и сделал красные пояса для юката. Но и это стало неоригинально через три дня. Тогда хозяин Красной гостиницы разозлился: "Ишь дурака нашли!" — и все вещи для гостей, а заодно и свои собственные перекрасил в красный цвет. Однако конкуренты тут же свели его старания на нет. Красная гостиница не смогла тягаться с ними и вскоре вышла из игры. Дело в том, что конкуренты облицевали свои ванны цветным кафелем, а у Красной гостиницы, к сожалению, кафеля не оказалось.

— К тому же, — сказал хозяин, — эти гостиницы хлопочут теперь о том, чтобы превратить Асино в увеселительное место. Собираются открыть рестораны и пригласить гейш. Совершенно непонятно, зачем тихие горячие источники в горах превращать в шумный вертеп, наподобие городского квартала развлечений. На Зеленой даче, говорят, строят бассейн, а гостиница "Соколиное крыло" сооружает на берегу реки отдельный павильон с застекленной вышкой для обозрения окрестностей. Так что Красная гостиница оказалась прижатой к реке. Как в битве — отступать некуда. Или как в игре го¹ — прижаты к стенке.

¹Го — японская игра типа шашек.

После ванны я сразился с хозяином гостиницы в го. Расставляя фишки, я объяснил ему, что такое дамская пудреница для компактной пудры. Оказалось, что видеть окаменелого краба с таким большим панцирем ему не приходилось. Однако если взяться за поиски целенаправленно, то можно и найти, добавил он назидательно. Человек никогда не должен терять надежды. И хозяин вышел, сказав, что обойдет местных стариков — может, они что знают. Через час он вернулся с поникшей головой — такую окаменелость никто до сих пор не встречал.

— Ничего не поделаешь, — сказал я, — придется самому порыться.

Хозяин поглядел в окно, за которым сгущались сумерки, и заметил со вздохом:

— Самому порыться, говорите... Когда бы каждый мог так легко найти окаменелость, то и забот никаких не было бы. Вот если бы Камэ Таро-сан был жив... Он непременно помог бы. Вы опоздали на два года.

Камэ Таро-сан был знаменитым в тех местах змееловом и искателем окаменелостей. После паводка, когда спадала вода на реке, он обязательно находил крупные окаменелости. А ядовитые змеи, говорят, замирали от одного его взгляда. Тогда он быстро хватал их кончиками пальцев за голову и мгновенно отрывал ее. Еще секунда — и белое тело змеи, лишенное кожи, описывало в воздухе дугу, как выхваченная из ножен сабля. К сожалению, Камэ Таро-сан умер от астмы в позапрошлом году.

— Однако у такого знатока, должно быть, многое осталось, — сказал я. — Может, и краб найдется.

— М-да... — Хозяин гостиницы склонил голову набок. — Дело в том, что после смерти Таро-сан вещами его сразу же распорядились. Хотя надо бы для верности еще и у Эрии спросить. Вдруг что-нибудь и обнаружится. Подождите до завтра.

Девочка со странным именем Эрия была, по словам хозяина гостиницы, воспитанницей Камэ

Таро. Ее бросила молодая женщина в желтой юбке, приезжавшая на воды вскоре после войны. Девочка была мулаткой — "дитя любви", рожденное от негра, и вторая жена Камэ Таро, как раз оставшаяся без ребенка, взяла ее на воспитание. "Женщина в желтой юбке звала дочь Эрия", — сказал хозяин гостиницы. По-видимому, девочку звали Мэри, а женщина произносила ее имя так жеманно и невнятно, что ему слышалось "Эрия". Я сказал о своем предположении хозяину, но он ответил, что теперь уже уточнить ничего невозможно, потому что девочка глухонемая от рождения.

Мне не пришлось ждать до следующего дня. Когда поздно вечером я спустился к источнику с полотенцем через плечо, в горячем тумане предо мной вдруг предстала обнаженная темнокожая фигурка. Это была Эрия.

Словно поджидая меня, она стояла в смелой, как у манекенщицы, позе прямо перед раздевальной. В тот миг, когда, открыв стеклянную дверь в ванную, я увидел ее, мне показалось, что это мое собственное отражение в белом тумане. Но не могло же мое отражение быть голым в то время, как я сам был в юката! И лишь заметив странную округлость груди, я опомнился, понял, что передо мной юная девушка, и собрался было лезть обратно по лестнице, как откуда-то из тумана раздался голос хозяина гостиницы:

— Господин антиквар! Куда же вы? Входите, пожалуйста. Это ведь Эрия, дочь Камэ Таро.

Я быстро разделся и, стараясь не смотреть на обнаженную девочку, прошмыгнул мимо нее с опущенными глазами, полагая, что так будет приличнее по отношению к хозяину гостиницы.

— Эрия вам кланяется, — раздался голос хозяина из ванны. Я поспешно обернулся и, забыв, что Эрия глухонемая, сказал ей: "Добрый вечер!" Тут я впервые увидел ее лицо. Мне улыбалось коричневое белозубое личико, обрамленное распущенными

волосами. В свете тусклой лампочки, словно облитые нефтью, блестели смуглые плечи.

Погрузившись в ванну, я спросил у хозяина гостиницы, что ответила Эрия. Оказалось, что в их доме не осталось ни одной окаменелости. Эрия дала понять, что окаменелости лучше всего искать самому, а если хочется без всякого труда получить то, что откопали другие, то придется набраться терпения. "Остроумный ответ для глухонемой девочки, довольно ироничный по отношению к антиквару", — подумал я с горькой усмешкой и решил, что придется, видно, самому заняться раскопками. Я вылез из ванны и сказал:

— Спокойной ночи! Хорошо, если бы завтра была ясная погода.

Эрия вдруг схватила меня за руку и показала взглядом на свою ладонь.

На ладонь падал маленький круглый пучок света. Я взглянул сквозь белый туман наверх и увидел, что это лунный свет пробился сквозь дырку на крыше. Эрия как бы говорила мне: погода завтра будет ясная.

Я кивнул. Эрия тоже кивнула мне и низко поклонилась.

Окаменелого краба я так и не нашел.

Пять дней я бродил по ущелью Асино, старательно разыскивая окаменелости, но не только не обнаружил большого краба, но не нашел даже маленькой окаменелой ракушки. Вдобавок тяжелый ящик с инструментами так натер мне плечо, что я два дня сидел потом в ванне.

Я решил, что надо пока прекратить поиски и приехать как-нибудь потом, как следует подготовившись. Сказал хозяину гостиницы, что завтра уезжаю, и попросил счет. Хозяин смущенно кланялся, будто был виноват в моей неудаче. Потом осторожно выдавил:

— Видите ли, дело в том...

Оказалось, Эрия хочет показать мне что-то. Нужно пройти по горной дороге над ущельем минут двадцать, и там находится то, что она хочет показать. Не мог бы я отложить отъезд до послезавтра, а завтра сходить на гору поглядеть?

— Поглядеть, поглядеть, что глядеть-то? — раздраженно спросил я. Из-за сильной усталости и неудачи мне не хотелось и шевелиться.

— Вот когда увидите, тогда и порадуетесь, — сказал хозяин. — Эрия еще ни разу не водила туда антикваров. Она вам доверяет, — подзадоривал меня хозяин. Ну раз уж мне доверяет глухонемая девочка — ничего не поделаешь. Придется сходить, хотя бы для расширения кругозора, решил я. И отложил отъезд на послезавтра. Хозяин гостиницы тут же воспрянул духом и теперь уж стал меня пугать:

— Но только поглядеть! Трогать ничего нельзя ни в коем случае... Не то боги накажут.

На другой день Эрия повела меня по горной тропе на деревенское кладбище. На кладбище, прилепившемся на скале, которая круто обрывалась в глубокое ущелье, завывал ветер. Миновав несколько могил, Эрия подошла к краю обрыва и молча указала на небольшой холмик. Странно говорить о молчании глухонемой, но в тот миг лицо ее и вправду хранило глубокое молчание, она даже затаила дыхание.

Могила была скромной. На земляном холмике стоял обыкновенный камень величиной с маленькую хибати¹ для обогрева рук. Рядом дрожала на ветру узкая ступа², обращенная к нам белой спиной. Приминая заросли низкорослого бамбука, мы обошли могилу кругом, и тут у меня вырвался возглас удивления. Я подбежал к могильному камню и упал перед ним на колени.

¹Хибати — переносная жаровня.

²Ступа — здесь: деревянное надгробие в виде вертикально поставленной узкой дощечки.

На гладко отполированной поверхности камня прилепилась морская черепаха величиной около сяку, с темно-коричневым панцирем. Я не поверил своим глазам, но это и вправду была окаменелая морская черепаха. Забыв поклониться усопшему, я протянул руку и коснулся черепахи, но пальцы соскользнули с гладкого панциря, и я почувствовал холод, будто кончиками пальцев дотронулся до льда.

Мне ничего не оставалось, как только любоваться этим великолепным шедевром древности. Видимо, эта черепаха была самой большой драгоценностью Камэ Таро при его жизни. И, конечно, более совершенного надгробия нельзя было даже и представить на могиле такого знатока окаменелостей.

Я пришел в себя от легкого прикосновения руки Эрии. "Пора возвращаться", — показала она жестом. И тут меня вдруг обуяло желание схватить этот камень и взмыть со скалы, как птица. "Вот бы украсть его!" — подумал я. Но камень уже стал надгробием другого человека! И я остановил себя: "Нет, не могу я превратиться в кладбищенского вора".

Будь я настоящим антикваром, я бы, возможно, всю жизнь мучился, решая эту дилемму. Но я прекрасно понимал, каким был дилетантом.

И я подумал: если я не могу сейчас вот оттолкнуть Эрию и схватить этот камень, я должен решительно забыть о нем. Более того, мне придется навсегда оставить поиски окаменелостей, потому что я все равно не встречу уже такого шедевра, даже посвятив поискам всю свою жизнь. А если этот непревзойденный экземпляр будет тихо дремать здесь на кладбище, я не смогу сосредоточиться на поисках других окаменелостей. У меня не возникнет желания искать их где-то в другом месте.

Я вяло поднялся с колен и нахлобучил на голову охотничью шапочку, но внезапно налетевший ветер

тут же сорвал ее и покатил вниз по склону. Потом она слетела с обрыва и исчезла.

Мы подбежали к краю обрыва и, распластавшись на животах, чтобы ветер не сбросил нас, стали смотреть вниз, в ущелье. Моя шапочка, кружась на ветру, словно мотылек, медленно падала вниз, туда, где светло пенилась узкая, как пояс кимоно, горная речка. И я подумал: пусть мою шапку поскорее поглотят волны реки.

В конце осени того же года я получил от хозяина Красной гостиницы письмо и небольшую посылку. От писал следующее:

"Извините, что прямо перехожу к делу. Горячие источники Асино в последнее время сильно изменились. Мне не приходилось бывать на курорте Кусацу, но все говорят, что Асино – это Кусацу района Тохоку. На Зеленой даче соорудили бассейн с горячей водой, а в гостинице "Соколиное крыло" закончили строительство павильона.

Мать Эрии умерла. Она давно страдала почками. Эрию взял на попечение хозяин Зеленой дачи. Вообще-то забрать ее к себе должен был я, но хозяин Зеленой дачи оплатил похороны ее матери и, воспользовавшись этим, захватил девочку. Опять я проиграл из-за своей бедности. Такая жалость.

По замыслу сына хозяина Зеленой дачи, этой весной окончившего Токийский университет, Эрию оденут в зеленые трусы и бюстгальтер, и она будет делать гостям массаж в большой ванной. Просто уму непостижимо: обнаженная Эрия массирует гостей. Чего только не выдумают эти выпускники университетов!

Бассейн с горячей водой хорошо виден с крыши моего дома. На днях я лазил на крышу, чтобы починить дыру, сквозь которую просачивается дождевая вода, и видел, как этот шалопай, сын хозяина Зеленой дачи, на велосипеде привез Эрию купаться в бассейн. Они разделись и стали плавать наперегонки.

Да разве Эрия уступит какому-то там выпускнику университета! К сожалению, у меня нет карманных часов, но я тут же приложил ладонь к груди и подсчитал время по ударам сердца. Сто метров Эрия проплыла за одну минуту и пять секунд. Я так разволновался, что забыл починить дыру в крыше.

Так что крыша до сих пор протекает.

О той окаменелости, что вы спрашивали, вестей пока нет. Но вы не огорчайтесь. Великое ждут всю жизнь. Вы должны исполниться решимости найти ее.

Посылаю вам отдельной почтой подарок от Эрии. Когда Эрия разбирала вещи, чтобы переехать на Зеленую дачу, она обнаружила эту вещь в корзинке своей матери. Вещь эта, несомненно, принадлежала Камэ Таро-сан. Эрия принесла ее мне и сказала, что хотела бы послать вам на память о посещении кладбища. Я с радостью согласился отправить вам посылку, так как считаю, что если уж такую вещь кому-то дарить, то только вам. Не знаю, правда, понравится ли. Примите, пожалуйста, и, любуясь ею, развивайте свой талант”.

Я развернул сверток и увидел продолговатую каменную палочку темно-фиолетового цвета. Один конец ее был круглым и толстым, другой плоским и тонким. На листке бумаги, вложенном в сверток, было написано: ”Это окаменелый угорь”.

Угорь этот служит мне теперь вместо пресспапье. Желание искать окаменелости давно уже покинуло меня. А окаменелого угря я храню как воспоминание о моей бедной юности. Иногда поздно ночью я прикладываю его ко лбу и чувствую, как на меня находит вдохновение. Подношу камень к носу и вдыхаю запах кристаллов, оседающих по краям горячего источника, — этих ”цветов горячих вод”. Подношу к уху и слышу шум воды — так шумит горная река.



**Родина в горшке
овальной формы**

I

В воскресенье он только и делал,
что кружил по городу.
Утром выходил из дому в кедах,
если был ясный день, или в рези-
новых сапогах и с прозрачным
виниловым зонтиком, когда шел
дождь, и ехал на трамвае или

автобусе куда глаза глядят.

В табачном ларьке покупал пачку сигарет, хотя никогда не курил, и спрашивал, нет ли поблизости многоквартирного дома. Если такой дом был, он узнавал, как туда пройти, а найдя дом, справлялся:

— Не живет ли тут девушка по имени Митобэ Миса?

Опасаясь, что она изменила имя, описывал ее в двух-трех словах и добавлял:

— Ей восемнадцать лет. Она держит черную кошку.

По-видимому, не так-то часто встречаются восемнадцатилетние девушки, живущие с черной кошкой вдвоем в многоквартирном доме, поэтому многие консьержки, бросив взгляд на его неухоженные, бурые волосы и застиранный свитер, сразу же отвечали, что такой девушки в их доме нет. Другие, перед тем как ответить, осторожно спрашивали:

— А вы кто такой?

— Айда Кохэй, — честно называл он себя, но не мог толком объяснить, кем он приходится Миса. — Мы из одной деревни... — бормотал он, выходил на улицу и шел дальше.

Иногда он переставал понимать, что это с ним происходит, зачем он бродит по улицам, да еще в воскресенье. Почему так случилось.

До сумерек, пока он ходил по городу, в его карманах скапливалось по три-четыре пачки ненужных ему сигарет. Он приносил их домой и отдавал старой консьержке, а та, думая, что он выиграл их в патинко¹, говорила лъстиво: "Спасибо за подарок. По-моему, вы здорово набили себе руку".

II

До того как Айда стал бродить по городу, все воскресенье напролет он качался на качелях в малень-

¹Патинко — игровой автомат.

ком саду на одной из улиц Фукагава.

Нет, он не раскачивался изо всех сил, стоя на доске, как это делают дети. Ему было уже восемнадцать лет, да и захоти он раскачаться повыше, все равно не смог бы этого сделать — на правой руке у него не хватало большого и указательного пальцев, и он не в состоянии был крепко ухватиться за веревку.

Он сажился на доску, куда дети становились ногами, брался за веревки и тихонько покачивался взад и вперед. Сидя на качелях, он думал, что это похоже на движение маятника больших стенных часов, висевших напротив учительской в их деревенской школе. А иногда, проголодавшись и ошалев от качания, он вспоминал, как плавал на лодке на пруду за деревней. На качелях укачивало, как в лодке.

Когда его начинало тошнить от голода, он шел в закусочную, стоявшую под чахлым гималайским кедром в углу сада, и ел там одэн¹. Ел он всегда левой рукой, держа правую в кармане, но хозяин закусочной знал, что у него нет двух пальцев на правой руке. Однажды Айда зашел в закусочную, и одэн показался ему таким вкусным, что он никак не мог остановиться. Наконец он сказал себе: "Ну, это последний" — и схватил было вертел, как хозяин вдруг произнес:

— Двести сорок иен.

Он невольно вытащил руку из кармана и стал искать кошелек.

— Ешьте спокойно, коль у вас есть деньги. Не спешите. — Хозяин улыбнулся. — Руку жаль. Как это случилось?

Пришлось рассказать, раз уж тот увидел.

— Работал на фабрике, где делают набивку для

¹Одэн — кусочки батата, соевого творога и пр., насаженные на бамбуковые палочки и сваренные в воде.

матрасов. Машиной отрезало, — сказал он простодушно.

— Набивку для матрасов?

— Ну да. Матрасную набивку. Берут волосы, шерсть, нейлоновые очесы, смешивают с жидкой резиной, раскатывают в виде толстого листа и режут на большие куски механической пилой.

— Этой пилой и отрезало?

— Да. Из-за моей рассеянности.

Правда, так ему сказали хозяин фабрики и мастер, когда он очнулся. Сам же он ничего не помнил. Как было на самом деле, он так и не узнал. Мог только предположить, что пила сама вцепилась ему в руку.

— Теперь уж все равно, — нахмурился хозяин закусочной. — А пальцев самых нужных нет. Неудобно, конечно?

Обычно Айда не испытывал большого неудобства, но очень расстраивался, когда думал о будущем. Как можно заработать на хлеб, если даже карандаша не удержишь? О канцелярской работе он и с самого начала не помышлял, но с такой рукой невозможно ни станком управлять, ни другую работу делать, особенно тонкую. Оставался только тяжелый, грязный труд, но он не был уверен, что это ему под силу.

— Так вы сейчас эту самую набивку для матрасов делаете?

— Нет, я работаю в типографии. На грузовике.

— Хорошо водите?

— Нет, я не водитель. Помогаю сгружать и нагружать машину.

Хозяин закусочной понимающе кивнул и молча показал ему свою правую руку. На ней не было безымянного пальца.

— Это не пилой отрезало. Пулеметом отбило, — сказал он.

На другой день хозяин закусочной спросил:

— Близко живете?

— Я? В Канда.

— В Канда?! И оттуда приезжаете?

— Да. На автобусе. Девятнадцатый номер от южного входа Токийской станции метро.

— Вот, значит, как! А я думал, вы тут неподалеку обитаете.

Не зря спросил. Каждое воскресенье он приезжал сюда утром и просиживал на качелях до захода солнца.

— Здесь рядом знакомая живет, — сказал он, подмигнув хозяину.

— Тогда почему вы всегда один?

— А ее дома нет...

На лице хозяина закусочной отразилось недоумение: можно, дескать, и потом зайти. Но он этого не сказал. Заметил только:

— Ну и терпеливые же вы там, в Тохоку.

Айда удивился, потому что никогда не говорил хозяину закусочной, откуда он родом.

— Поговору понятно. Я в армии с ребятами с Тохоку служил... Все погибли.

Айда молча вернулся к качелям. Отсюда ему был виден невзрачный переулок на другой стороне улицы. За вывеской одноэтажного строения у входа в переулок виднелись три окна второго этажа стоявшего позади дома, беленного известкой. То, что посередине, было окном комнаты Миса. Она поставила в комнате роскошную кровать и жила там вместе с черной кошкой по кличке Тама.

Кошку Миса привезла из деревни, а кровать купила, когда стала работать в баре. Он помнил, как первый раз уселся на эту кровать. Ноги сами по себе взмыли в воздух, и он стал раскачиваться вперед и назад, точно Дарума¹.

Айда очень удивился. Чем он там набит, этот матрас? Не думал, что кровать может быть такой мяг-

¹ Дарума — здесь: игрушка наподобие ваньки-встаньки.

кой. Сначала он ощутил беспокойство, а потом вдруг помрачнел. Теперь-то он понимал, что это было предчувствием беды.

III

— Отныне будет так: если на окне висит красное полотенце — я еще сплю, беспокоить не надо.

Миса сказала это в конце лета, когда он однажды в десятом часу утра постучался к ней в дверь.

— Если белое полотенце — ко мне можно подняться. А когда никакого полотенца не видно, меня нет дома.

В тот день Миса спросила из-за двери:

— Это ты, Ко-тян¹? — и, помедлив немного, сказала: — Подожди в саду.

До сих пор она всегда открывала ему дверь, даже если была в каком-то колыхавшемся, прозрачном, как крылья мотылька, одеянии, и при этом говорила: "Я еще сплю. Войдешь?" — "Подожду на улице", — отказывался он и ждал, когда откроется окно в комнате Миса, выходящее в переулок. А в то утро она не только не отворила ему дверь, но потом еще и отчитала его. Такого не было с тех пор, как они уехали вместе из деревни.

"Может, в баре что случилось или чувствует себя плохо", — решил он, направляясь, как она велела, в сад. Немного погодя прибежала Миса с развевающимися волосами, выкрашенными в каштановый цвет, и выпалила:

— Теперь будет так...

"О чем это она?" — подумал он. Оказалось, о полотенцах.

— Иначе я просто свалюсь от недосыпания. Мы с тобой живем в разных мирах. И отдыхаем, естественно, по-разному. Ты должен понять меня.

И беглой токийской скороговоркой, которую

¹Ко-тян — уменьшительное от Кохэй.

она уже усвоила, Миса выпалила все, что, видимо, давно уже наболело у нее на душе. Прежде ему и в голову бы не пришло, что он будет вот так стоять перед ней и выслушивать упреки. Поэтому он глядел на бледные без помады губы Миса и молчал. А когда Миса остановилась, сказал:

— Я понял. Пусть будет так, как ты сказала. Только не говори, что мы живем в разных мирах.

Миса молчала, опустив тяжелые, опухшие веки.

Тогда он, чтобы разрядить обстановку, добавил весело, загибая оставшиеся на правой руке пальцы:

— Значит, красный — стоп, белый — иди, а когда никакого сигнала — возвращайся восвояси. Ну прямо как дорожные знаки.

Однако Миса даже не улыбнулась. Не глядя на него, сказала сухо:

— А ты что думал? Это тебе не деревенская дорога.

Разговор не клеился, так что в тот день, постояв немного на улице, они разошлись. В следующее воскресенье на окне у Миса не оказалось никакого полотенца. Это означало, что ее нет дома. "А может, она уже забыла про эти полотенца? — подумал он, стоя в переулке. — Каждый может рассердиться, если его разбудить не вовремя. Вот в сердцах и наговорила лишнего".

Он понял, что не успокоится, пока не постучит к ней в дверь. Когда он поднимался по лестнице, скрипнула дверь уборной, и появился сосед Миса, Хаясида-сан, в ватном кимоно и с зубной щеткой во рту.

— Миса-тян куда-то уехала, — сказал он.

Ничего не оставалось, как поклониться и уйти.

Значит, Миса не забыла про сигнал. В переулке он оглянулся — в окне комнаты Миса ничего не висело. "Уходи, меня нет дома", — как бы говорила Миса.

Но он перешел улицу и направился в сад. Лаво-

чек там не было, и он сел на качели. Ему был виден переулок и окно комнаты Миса. Идти было некуда. Дома его ожидал лишь тощий тюфяк в пустой комнате, и возвращаться туда не хотелось. "Лучше здесь побуду, подожду Миса", — подумал он.

Миса не вернулась и к вечеру. Так было и в следующие два воскресенья. В окне не виднелось никакого полотенца, и с наступлением сумерек свет не горел. И все же через неделю он снова вышел из дома и упрямо направился в сад. По дороге он думал, что ее и сегодня не будет дома, но остановить себя и вернуться не смог. Узнать, дома она или нет, можно, только взглянув на ее окно. А вдруг дома? Вдруг на ее окне висит белое полотенце?

И, влекомый этим "а вдруг", он приходил в сад и сидел там до сумерек. Это стало его постоянным занятием по воскресеньям. К середине дня он уставал качаться на качелях, но не огорчался. Хозяин закусочной сказал, что он терпеливый, но дело было не в этом. С тех пор как он приехал в Токио, все воскресные дни он проводил с Миса и другого развлечения просто не знал.

Он не бездельничал в одиночестве, он ждал Миса, и это воодушевляло его. И оттого, что Миса все-таки не появлялась, у него не возникало чувство напрасно потерянного времени. Когда окно комнаты Миса начинало сверкать в лучах заходящего солнца, нос его улавливал запах похлебки из закусочной, и Айда охватывала досада. Он пытался глотать слюну до тех пор, пока на глазах не появлялись слезы. Тогда он вставал с качелей. "Быстренько проглотчу порции три, и обратно", — думал он, но хозяин закусочной говорил:

— Сегодня опять зря прождали.

И слышать это было невыносимо.

Да что ж такое, где эта Миса? Чем она занимается? Даже в воскресенье не бывает дома.

Однажды он вдруг подумал: "А что, если Миса вовсе покинула этот дом?" Он тихонько поднялся по лестнице. Перед дверью комнаты Миса, как сторож у ворот, сидела кошка Тама. Ну раз Тама здесь, то и Миса должна быть дома.

Он успокоился. Щелкнул над головой кошки пальцами, но Тама не шевельнулась. Только мяукнула беззвучно с закрытыми глазами.

Еще когда Айда жил в деревне, он не любил кошек. Тама же он решил полюбить, потому что ее любила Миса. Но из этого ничего не получилось. Наоборот, он ее возненавидел.

Когда они приехали в Токио, это был совсем крошечный, чуть слышно пищавший котенок. Миса привезла его в маленькой корзинке. Он считал Тама источником всех бед для Миса. А Миса сама привезла этот источник бед с собой в город.

Еще в деревне Миса завербовалась на хлебозавод, но через три месяца уволилась и стала работать в уличном киоске. Не прошло и четырех месяцев, как она ушла оттуда и нанялась официанткой в столовую. Затем была парикмахерская, кафе, закусочная, что-то еще, и теперь она служила хосутэсу¹ в баре. За три года она сменила по крайней мере десять мест.

Миса говорила, что причиной всех ее мытарств была Тама. Из-за нее, мол, Миса попадала в немилость и вылетала с работы. Ему не хотелось думать, что Миса легкомысленна, и потому он возненавидел кошку. На самом деле в Токио Миса мгновенно преобразилась, стала совершенно не похожа на ту девушку, которую он знал. Но он этого не замечал. Он думал, что виною всему не сама Миса, а кошка Тама. Считал, что Тама, пользуясь расположением хозяйки, заворожила ее и водит по городу.

¹Хосутэсу — девушка, занимающая посетителей в баре (от *англ.* *hostess* — хозяйка).

Правда, ему и самому не очень-то везло с работой. Сначала он устроился в закусочную, где подавали суси¹, однако испытал там только стыд от насмешек и ничему путному не научился. Он никак не мог привыкнуть зычно рявкать "Пожалте!" в лицо посетителю. Айда молча кланялся ему, а после поклона говорить что-то было уже нелепо. Он так и уволился, не избавившись от своей стеснительности.

После закусочной он работал в европейской кондитерской, в китайском ресторане, но всюду им лишь помыкали, а ремеслу не учили. Тогда он решил бросить торговые заведения и устроиться работать на матрасную фабрику. Однако не прошло и полугода, как он потерял там самые нужные пальцы на правой руке.

Если Тама злой дух для Миса, думал он, то и за ним увязался какой-нибудь носитель зла, но он не сможет избавиться от своего злого духа, потому что тот живет в нем самом.

Теперь уже Тама пошел четвертый год. Это была толстая наглая кошка. И когда он глядел на Миса, лежавшую на мягкой до жути постели с кошкой на бедре, то отводил в смутной тревоге глаза и думал: "Неужели это та самая девочка, которая приехала со мной из деревни в Токио три года назад?"

V

В середине ноября, в воскресенье чуть за полдень, когда он, съев суси за прилавком закусочной в саду, уже расплачивался с хозяином, мимо прошел Хаясида-сан в очень коротком кимоно из конгасури². Хаясида-сан, видно, ходил в баню. Волосы у него были мокрые, в руке полотенце. Айда поклонился.

¹Суси — приправленные уксусом и сахаром колобки из вареного риса, на которые кладут рыбу, яйцо или овощи.

²Конгасури — темно-синяя хлопчатобумажная ткань в белый горошек.

Хаясида-сан замедлил шаг, удивленно глядя на него.

Айда еще раз поклонился Хаясида-сан по привычке, приобретенной во время работы в закусочной, и направился к качелям.

— Извините... — заговорил Хаясида-сан, догоняя его. Оказалось, Миса три дня назад переехала куда-то в другой район. Айда открыл было рот, но сказать ничего не смог. В голове была пустота.

— Я подумал, вы ждете ее... — сказал Хаясида-сан. — Ну, тогда всего хорошего.

И Хаясида-сан направился к дому. Но Айда остановил его.

— Куда переехала?

— Не знаю. Она не сказала. И в доме никто не знает. Даже старичок привратник. — Хаясида-сан, не глядя на Айда, доложил еще, что недели две назад Миса радостно говорила ему, что она переезжает в большой дом. — А таких домов в Токио полным-полно. Вам она ничего не сообщала?

Айда покачал головой.

— Не... — сказал он по-деревенски.

Он не знал, как теперь быть.

— Ничего, скоро она обязательно сообщит, куда переехала. Делать нечего, придется подождать. Так я пойду. — Хаясида-сан быстро вышел из ворот сада. Айда медленно поплелся следом. В ту минуту ему и в голову не пришло, что надо было бы помахать на прощанье хозяину закусочной, потому что теперь он уже никогда, видно, не придет в этот сад. Ему почему-то стало вдруг зябко, и он поднял воротник джемпера.

Он не заметил, как прошел остановку автобуса и оказался у Монмаэ Никамати. В автобус садиться не хотелось. Страшно было вернуться в пустую комнату. Потому он не торопился. Так и шел пешком.

На мосту Энъёбаси дул сильный ветер с реки, и ему показалось, что его вот-вот унесет в небо. Он остановился у железных перил, испугавшись, что уле-

тит неизвестно куда, хотя это не он, а Миса улетела от него, как бумажный змей с оборванной нитью.

Он дошел до Нихонбаси. Домой возвращаться все еще было рано. На тротуаре перед большим универмагом образовался непрерывный людской поток. Он поплыл в этом потоке. Перед входом виднелась вывеска: "Шедевры японского бонсаи"¹.

Когда он увидел иероглиф "бон", глаза его вдруг затуманились. Он вытер слезы рукавом джемпера и снова взглянул на вывеску. Такой знакомый иероглиф! На его родине Бон² справляли с тринадцатого августа, на месяц позже, чем в других местах. Когда спускались сумерки, все шли на храмовое кладбище у подножия горы и зажигали у родных могил поминальные костры из сосновых корневищ. А когда совсем темнело, на кладбищенском склоне горы мерцало более двухсот огней, и каменные ступени, ведущие к храму, казались мостом через горящее озеро.

С тех пор как он уехал в Токио, он ни разу не был в своей деревне, ни на Новый год, ни на Бон. Нет, он не бежал из дома. Просто ему не хотелось туда возвращаться. После смерти отца к матери тихой сапой вселился бродячий торговец, и дом стал ему чужим. Поэтому, окончив школу, он поспешил уехать из деревни с намерением больше туда не возвращаться и вообще забыть свою деревню. Но иероглиф "бон" напомнил ему дымки от поминальных костров в роще криптомерий на кладбище. Понять значение иероглифа "сай" на вывеске он не смог и решил, что речь идет о выставке предметов, которыми пользуются во время праздника Бон в разных местах Японии. Пройти мимо такой выставки было нельзя.

¹Бонсай – карликовое дерево, миниатюрный садик в горшке или на подносе.

²Бон – праздник поминовения усопших.

Однако, поднявшись на эскалаторе в зал, он увидел лишь несколько десятков горшков с миниатюрными деревьями. Они стояли на низких полках, покрытых белым полотном. Он остановился, обескураженный, перед причудливо искривленной карликовой сосной, и тут кто-то хлопнул его по плечу.

— Айда-кун?

Он удивленно оглянулся. Это был Цуру-сан, сторож с матрасной фабрики. "Странная встреча в странном месте", — подумал он. Цуру-сан тоже, казалось, был удивлен.

— Вот уж не ожидал увидеть тебя здесь! — воскликнул он. — Ты что, любишь бонсай?

Тогда-то Айда впервые узнал, что маленькие деревья в горшках называются бонсай.

Они отошли в сторону, чтобы не мешать посетителям выставки, и стали разговаривать. Цуру-сан спросил, как его рука, и он незаметно вытащил руку из кармана и показал ему. Еще на фабрике Айда испытывал симпатию к Цуру-сан, похожему на барсука, да и Цуру-сан, по-видимому, сочувствовал парню, лишившемуся сразу двух пальцев.

Поскольку Айда впервые оказался на выставке бонсай, Цуру-сан предложил посмотреть ее вместе, и они отправились вдоль полок с горшками. Цуру-сан до этого уже обошел зал несколько раз, поэтому он подробно объяснял Айда особенности экспонатов и трудности, с которыми столкнулись их создатели. Он горячо дышал в ухо Айда, а тот сказал с восхищением:

— Здорово же ты все знаешь!

— Так я ведь много лет занимаюсь этим искусством. Правда, не настолько преуспел, чтобы выставлять здесь свои произведения, однако и у меня есть шедевры. Не веришь — пойдем покажу, — сказал Цуру-сан.

Айда подумал, что лучше все-таки сохранять дерево в естественном виде, а не скручивать нарочно

стволы и ветви, не создавать уродливые наросты. Хороша была японская ель с неуклюже растопыренными ветвями, три хиноки¹, стоявшие рядышком. Его привлекали пейзажи, нравилось, когда несколько одинаковых деревьев росли в горшке в виде рощицы. Кэйяки² в одном из горшков выглядели совсем как настоящая роща. Это была сама природа в миниатюре.

Поэтому, когда Цуру-сан спросил после осмотра, что Айда больше всего понравилось, тот сразу сказал:

— Пейзажи.

— Вот как! Я так и думал, — обрадовался Цуру-сан. — Я тоже люблю пейзажные бонсай. И выращиваю их неплохо. Хотелось бы показать тебе. Право слово, заходи как-нибудь ко мне. У меня много разных бонсай пейзажного стиля.

Цуру-сан вырвал листок из блокнота и нарисовал, как пройти от станции метро до его дома.

— В следующее воскресенье сможешь? — спросил он.

Предложение было неожиданным, и Айда растерялся, но потом вспомнил, что теперь ему уже не надо ехать в Фукагава и сидеть в саду, он совершенно свободен. Пока он осматривал бонсай вместе с Цуру-сан, он совсем забыл о том, что Миса бросила его и скрылась неизвестно куда.

VI

Неделю он провел в бездействии. Когда Миса жила в Фукагава, время обычно тянулось бесконечно долго. Теперь же неделя промелькнула незаметно, и как-то сразу наступило воскресенье. По установившейся привычке он вышел из дома, но идти

¹Хиноки — кипарисовик японский.

²Кэйяки — дзельква пильчатая, ценное дерево семейства ильмовых.

было некуда. И он отправился к Цуру-сан.

Цуру-сан жил на одной из грязных улочек у плотины Аракава. Айда сразу нашел дом по плану, который оставил ему Цуру-сан. Дом находился в глубине переулка и был меньше, чем он ожидал увидеть. Он вошел во двор, и глаза его округлились от удивления — на полках теснилось множество горшочков с карликовыми деревьями. Он и не думал, что Цуру-сан может быть обладателем такой коллекции.

Цуру-сан специально для него расставил все пейзажные бонсай на одной полке. И тут же показал их. Один из пейзажей особенно поразил Айда. В плоском, похожем на глубокое блюдо горшке овальной формы земля была насыпана в виде невысокого холма, с одной стороны он был повыше, с другой пониже. Холм зарос мхом, изображавшим траву, и среди этого мха торчало около двадцати деревцев — точь-в-точь как на южной окраине дубовой рощи в его родной деревне. Айда застыл от изумления, увидев этот пейзаж.

— Ну как? Понравилось что-нибудь? — спросил Цуру-сан.

Айда молча показал пальцем на кусочек своей родины в миниатюре.

— А-а, дубки, — сказал Цуру-сан. — Неплохая вещь. Но и ели хороши, не правда ли?

Но Айда не хотелось больше глядеть ни на что другое, кроме дубовой рощицы. Он не мог отойти от нее — так поразительно она походила на южную окраину его родной дубовой рощи.

Глаза его наполнились слезами. Мысленно он был теперь на родине.

— Что с тобой? — Цуру-сан хлопнул его по плечу, и Айда сразу же вернулся на токийскую улицу. Цуру-сан заглянул ему в лицо. Айда отвернулся, вытер глаза и смущенно почесал в затылке.

— Совсем как в моей деревне. У нас в деревне точно такая же роща. Мы там часто играли.

— Можешь взять, если уж так понравилось. Не насовсем, конечно, а на время. Впрочем, могу и все отдать, но ухаживать хлопотно. А так налюбуйешься волю и принесешь, когда надоест. Будешь два раза в день поливать. Справишься, я думаю.

Айда кивнул. Неожиданно для себя он получил дорогой подарок. Привез его домой на такси, хотя редко брал такси, когда был без Миса.

В тот вечер он поставил горшок у изголовья постели и, лежа на животе, стал любоваться миниатюрным пейзажем. Не заметил, как и заснул. С тех пор, вернувшись с работы, он ложился у горшка и допоздна глядел на деревца.

Бонсай был как бы родником овальной формы, вызывавшим воспоминания о родине. Когда он всматривался в него, воспоминания так и били ключом, словно вода из родника.

Разглядывание миниатюрной рощицы стало его любимым занятием.

Он воображал, что мох — это трава на склоне холма, а он, Айда, совсем еще маленький, лежит на траве. Глаза его закрыты, руки под головой, и сам он величиной с половину спички. Дубовая рощица растет и увеличивается, и вот она уже поглотила его. Слышен шелест ветра в верхушках деревьев, шум реки, голоса птиц. Вдалеке стучит молотилка, гудит колокол в храме... Он медленно открывает глаза и смотрит вверх. В голубом, ясном небе переплетаются, как ячейки сети, верхушки дубов, скинувших листья. Он встает и идет по тропинке в глубь рощи...

Однажды, когда он лежал так с закрытыми глазами, его вдруг окликнул женский голос:

— Ко-тян!

Он поднял голову. Из-за дерева поодаль выглядывало румяное, дышащее молодостью лицо Миса.

— Это ты? Ты где пряталась? — удивленно спросил он, хотел вскочить на ноги и очнулся.

”Надо искать Миса”, — подумал он тогда. Хаясида-сан сказал — надо ждать, пока она сама подаст о себе весточку, но теперь было ясно, что Хаясида-сан лишь успокаивал его. Миса никогда не предупреждала его, если уходила по воскресеньям из дома, а теперь то и подавно не откликнется. Надо искать самому.

Он не знал, много ли в Токио больших многоквартирных домов и сколько лет ему понадобится, чтобы обойти их все, если за день он сможет побывать лишь в двух-трех. И все же он не мог отказаться от поисков.

Каждое воскресенье, покинув свой бонсай, он бродил по городу, но все было напрасно.

VII

В последнее воскресенье декабря, как раз перед Новым годом, он вернулся вечером усталый от ходьбы и пошел в ближайшую баню. Болели старые раны на руке — наверно, продрог на улице. В бане он вымыл наконец голову и, освеженный и чистый, вернулся домой. За фанерной дверью раздался голос домоправительницы:

— Вы спите, Айда-сан?

— Еще нет, — ответил он, одернул свитер, который собирался было снять, и открыл дверь. Рядом с домоправительницей стоял незнакомый мужчина средних лет, щуплый, с моргающими глазами, в просторном на вид плаще. Домоправительница назвала мужчину следователем.

Айда невольно попятился. Подумал: ”Пришли взыскать за то, что он самовольно ходит по домам и наводит справки о Миса”.

— Айда Кохэй, не так ли? — спросил следователь совсем не строгим голосом и шагнул к двери. — Вы знаете женщину по имени Митобэ Миса?

”Откуда следователю известна Миса?” — удивился Айда и сказал, что знает. На вопрос, кем он ей приходится, ответить было совсем не трудно, потому

что в своих блужданиях по городу он привык к такому вопросу.

— Встречались ли вы на днях с Миса? — спросил следователь, и он ответил, что не видел ее с сентября.

Следователь кивнул, и Айда подумал, что допрос закончен, но следователь улыбнулся и спросил еще, где он был и что делал вчера вечером.

— Вечером? Да вот здесь. — Он легонько топнул ногой по татами¹.

— Все время были в этой комнате? — Лицо следователя улыбалось, только глаза оставались серьезными. — И чем же вы занимались?

— Чем? Глядел на пейзаж.

— На что?

— На бонсай.

— Гм! — хмыкнул следователь и быстро оглядел комнату. — И где же он?

— А вот. — Айда открыл стеклянную дверь, раздвинул дребезжащие ставни и показал на бонсай, стоявший сразу же под ногами на мокром балкончике. Следователь нагнулся и, упершись руками в колени, уставился на горшок.

— Это и есть пейзаж?

— Да.

— Что это за деревья?

— Дубы.

— Дубы? Даже не подумаешь, что у них есть корни. Будто ветви натканы.

Айду охватило раздражение. Дело принимало нешуточный оборот. Ничего не говоря, он присел на корточки и подергал один из дубков.

— А девочка-то по имени Митобэ Миса умерла.

Айда испуганно отдернул руку от дубка.

¹Татами — толстый соломенный мат стандартного размера (около 1,5 кв.м), которым застилается пол в традиционном японском доме.

— Отравилась газом. В старом доме в районе Мэгуро, — сказал следователь.

Айда хотел встать, но ему почему-то сделалось страшно, и он остался сидеть.

— Самоубийство?.. — спросил он, крепко схватившись руками за колени и глядя на бетонную стену, громоздившуюся прямо за мокрым балконом.

— Письма не оставила. На самоубийство не похоже. Резиновая трубка у газовой колонки отошла — видать, во сне ногой толкнула. Очень пьяная была. Вчера же было рождество.

Следователь все еще стоял нагнувшись, упираясь руками в колени.

— Миса-тян одна была?

— Одна. Говорят, у нее кошка жила. Так эта кошка исчезла. Дверь не была заперта.

Айда обернулся, а следователь выпрямился.

— Поедешь перед Новым годом в деревню, утешь там родителей Миса-тян, — сказал следователь, направляясь к двери. — Извини за беспокойство.

В тот вечер Айда Кохэй исчез. Утром старушка домоправительница, заметив, что он долго не выходит, пошла поглядеть, что с ним. Постель была постлана, а его самого не оказалось. Горел свет, стеклянная дверь и ставни были открыты. В комнате все оставалось в том же виде, как накануне вечером, когда старушка ушла, пожелав постояльцу спокойной ночи. Только Кохэй не сидел на корточках перед горшком с миниатюрной рощей.

В комнате она нашла джемпер и носки. В ящике для обуви стояли гэта. Значит, Кохэй ушел куда-то босиком, в одном свитере и джинсах? Позвонила ему на службу. Там ответили, что Кохэй не появлялся. Старушка обследовала ящик стола — письма не было.

Он не вернулся домой ни на завтра, ни через день. Шло время новогодних отпусков, и старушка подумала, что он уехал внезапно на родину. Послала теле-

грамму в деревню. Через пять дней пришел ответ: "Кохэй не приезжал". Минуло десять дней, двадцать — Кохэй не появлялся.

Бонсай по-прежнему стоял на балконе. Никто его не поливал, земля засохла, мох запылится и порыжел. Рошица погибла.

Когда налетал пыльный ветер, маленькая бабочка, висевшая на нижней ветке одного из деревьев, тихонько качалась.

И никто не заметил, что это была вовсе не бабочка.

Там висел мертвый Кохэй.



**Я в пятнадцать
лет и мое
окружение**

Как-то однажды я написал предсмертное письмо. Не потому, что хотел покончить с собой. Просто меня мучило предчувствие, что меня могут убить. Вообще-то я несколько преувеличиваю. Я написал его скорее бессознательно, в душевном

смятении — из боязни, что могу неожиданно отправиться на тот свет.

Это было в мое пятнадцатое лето.

Однажды на рассвете меня разбудил страшный грохот. "Уж не землетрясение ли?" — подумал я, вскочил с постели и открыл окно. Прямо перед моими глазами по небу с оглушительным ревом стремительно промчался сверкающий черный дьявол. Он мгновенно исчез за ближайшим высоким домом, а я отчетливо разглядел белые звезды, нарисованные на его брюхе. Подоткнув подол ночного кимоно, я выбрался из окна, сполз на животе вниз по цинковой крыше, пробежал вдоль стены, прыгнул в сад и нырнул в убежище. Там было так темно, что я с разбега, ничего не разбирая, пролетел прямо до конца рва и стукнулся лбом о деревянную стенку. Опомившись, я тут же высунулся из рва и закричал, обернувшись к дому: "Воздушный налет! Спасайтесь!" Однако мне только показалось, что я кричал. На самом деле горло мое не издало ни звука. Это было примерно за месяц до окончания войны.

В то время я жил на втором этаже флигеля и усердно занимался — готовился стать младшим офицером морской авиации. Летная школа, в которую я собирался поступить, находилась на одном из маленьких островов Внутреннего Японского моря. Я никогда не видел этого островка, но он два приснился мне во сне. На горе сверкала белая казарма, на крыше ее развевался под ветром легкий шелковый флаг. Вероятно, в моем воображении слились воедино сон и действительно виденная мною как-то издали картина аэродрома. Я мечтал окончить такую школу. "Вот стану морским летчиком, — думал я, — и не задумываясь направлю свой маленький самолет прямо на трубу вражеского корабля".

Я собрался умереть. Сначала я хотел умереть как придется, но, когда стал соображать, что к чему, мне внушили, что умирать надо достойно. Вся душа

моя трепетала оттого, что час моей гибели приближался. И я нисколько не боялся смерти.

Ночью, лежа в постели с закрытыми глазами, я воображал себе, как буду умирать. Это были яркие картины, от которых кипела кровь и ликовала душа.

Я обрушиваюсь на вражеский корабль с облаков. Туман. Просвет. Синее море. Тростниковая лодка. Игрушечный корабль. Упругий ветер. Я падаю, падаю. Фейерверк. Белые цветы. Фейерверк. Белые цветы. Клубы дыма. Вой сирены в ушах. Он нарастает. Корабль. Белый дым. Черный дым. Жерло вулкана. Огненный вихрь. Яркая вспышка. Тут за моими закрытыми веками, будто снежинки, начинают кружиться белые хлопья. Как лепестки цветов вишен. Но и как пепел. И, конечно, откуда-то из глубины души возникает песня: "Выйдешь на море — плавают трупы"¹. Когда я слышу в себе эту песню, я всегда плачу и, легкий, как воздух, спокойно засыпаю.

С того утра весь месяц до окончания войны наш город ежедневно подвергался налетам палубной авиации. Но дня через три мы заметили, что опасность отдалилась. Далеко на западной окраине располагался военный аэродром, а с противоположной стороны за крошечными рисовыми полями, на берегу моря, стоял военный завод. Они-то, по-видимому, и были главной целью налетов. Вражеские бомбардировщики, прилетавшие на большой скорости со стороны моря, сбрасывали бомбы на район завода, затем, проскользнув низко над городом, резко разворачивались и опять летели в сторону цехов. Сделав два-три больших круга, словно набирая в легкие воздух, они уходили на запад. Небо над городом служило им как бы местом для отдыха. Иногда с неба, после того как исчезали самолеты, на город сыпались блестящие гильзы от снарядов автомати-

¹Песня японских смертников-камикадзе.

ческих пушек, но они не несли с собой большой беды, так как не представляли особой опасности для жизни.

Прошло десять дней, в городе ничего страшного не случилось, хотя с крыши соседнего высокого дома было видно, что от половины заводских сооружений ничего не осталось. Говорили также, что ангары на аэродроме из-за обстрела авиации стали похожи на пчелиные соты. Особенно трагическим показался мне рассказ одного рабочего о том, что на заводе была разбита цистерна с серной кислотой и огромное количество кислоты хлынуло в ближайшее укрытие, где жители скрывались от бомбежки — более двадцати человек исчезли буквально без следа. Однако людям, жившим рядом со мной, никакая опасность не угрожала. От этого становилось даже жутко. В городе царило какое-то странное веселье. Казалось, все старались как-то развеять давящую на сердце тоску. Некоторые с отчаяния даже бравировали своей удачей. Они забирались на крыши домов или высокие деревья и храбро рассказывали стоящим на земле соседям о роскошном зрелище сыпавшихся на город снарядов.

Я решил никуда не выходить из своей комнаты во время налетов. Если другие старались играть с опасностью из дерзкого любопытства или по горячности, то я пытался хладнокровно плевать на нее скорее из желания погибнуть. Сначала я здорово растерялся от неожиданности, но, когда привык к бомбежкам, когда противовоздушная оборона стала плотнее и определилось, в общем, время налетов, суетиться уже было ни к чему. Самолеты врага появлялись обычно утром. Изредка они прилетали и на закате. Начинали выть сирены, предупреждавшие о воздушной тревоге. Мы вскакивали с бодрими возгласами: "Ну вот, явились!" — и направлялись кто куда: одни в укрытие, другие в подвал высокого железобетонного дома, я же поднимался по скрипучим ступеням лестницы на второй этаж флигеля.

По правде говоря, у меня в комнате было сооружено нечто вроде бомбоубежища. На полку, разделявшую по высоте стенной шкаф, я положил два татами, за фусума¹ задвинул два створчатых книжных шкафа, оставив только узкую щель, чтобы протиснуться в свою нору. Таким образом, над головой у меня были татами, по бокам — доски, и нижняя часть стенного шкафа стала похожа на подпол под верандой. Я поставил туда столик, настольную лампу, перенес кое-какие вещи и мог там сколько угодно заниматься своими делами. Спокойно читал там английские книги, ломал голову над трудными геометрическими задачами, пил воду из горлышка чайника, стриг ногти, а во время налета громко распевал военные песни, стуча в такт кулаком по доскам.

В тот день, как всегда, утром был налет. Я сидел в тени в углу сада и рассеянно разглядывал увядший цветок асагао, перекатывая его на ладони. В это время завывла сирена воздушной тревоги. Это был самый обычный налет. Правда, с утра было очень жарко.

Направляясь к флигелю, я посмотрел вверх, и в глаза мне бросилось высокое здание, стоявшее поблизости. В лучах солнца этажи его ослепительно сверкали, как куски пиленого сахара, нагроможденные друг на друга. "А не пойти ли мне туда?" — подумал я. И, шепча про себя: "Вот возьму и пойду сейчас же туда", я вышел через заднюю калитку и быстро направился к высокому дому. Мысль пойти туда пришла мне в голову совершенно неожиданно. Почему она вдруг осенила меня, объяснить просто невозможно. Говорили, что в последние дни в подвале здания собирается много народу из ближайших домов, так как там прохладно и безопаснее, чем в укрытии. И действительно, войдя в дом, я ощутил прохладу, а в подвале и вправду стоял гул от голов — там набилось человек тридцать.

¹Фусума — раздвижная перегородка в японском доме.

У входа я встретил соседскую девчонку Наоко. Увидев меня, она состроила гримасу и сказала:

— Ну вот, наконец-то явился!

— Жарко сегодня. Вот и пришел.

Я присел на ступеньку темной лестницы у входа. Наоко села рядом.

— Говорят, ты в стенном шкафу прячешься?

Я усмехнулся. Потом мы долго молчали.

Всякий раз, когда содрогалась земля, воздух в подвале как будто слегка колебался. Рокот моторов вражеских самолетов, круживших в небе, казался гудением оводов. Иногда он был похож на собачий вой. Но вот раздался сильный взрыв. За шиворот посыпался с потолка песок. Наоко придвинулась ко мне и крепко сжала мою руку. Она так и просидела, прижавшись ко мне, до конца бомбежки. Наконец все затихло. Я встал. Рука Наоко соскользнула с моего предплечья вниз, уцепилась за мои пальцы.

— Вот кончится война... — сказала она, глядя на меня снизу вверх.

— Ага, — поддакнул я, потому что знал, что умру раньше, чем кончится война.

Я вышел из подвала и медленно побрел к дому в сияющем свете дня, от которого кружилась голова. Когда я мыл руки у колодца, во двор ввалился наш сосед Гэн-сан.

— Попало-таки! — сказал он, уставившись на меня. — Сижу я в укрытии, и вдруг как рванет! Ну, думаю — попало! Хорошо, что ты жив остался.

Я выпил стакан воды.

— Снаряд, что-ли, угодил... — продолжал Гэн-сан. Я взглянул на него.

— Да нет. Это бомба.

Мне неинтересно было с ним разговаривать, и я пошел к флигелю. Гэн-сан поплелся следом. "Что это он увязался за мной?" — подумал я. Гэн-сан, приказчику из рисовой лавки, было за пятьдесят, он не был моим другом. У входа во флигель я оглянулся,

и мы с ним испытующе уставились друг на друга.

— Надо быть осмотрительней, — сказал он. — Не знаешь, где и когда погибнешь. Положено бежать, стало быть, беги. Спасай свою шкуру.

Гэн-сан сказал это, кивая головой в такт словам, и ушел через заднюю калитку. "Что это он?" — опять подумал я и в смятении поднялся по лестнице.

Раздвинув фусума, я увидел вместо потолка как бы голубое полотнище. Приглядевшись, понял, что это небо. Круглое голубое небо с рваными краями, диаметром в один метр. Две квадратные доски тоскливо свисали по бокам дыры. Татами на полу были сплошь усыпаны мелкими осколками. Мне показалось, что я тихонько вскрикнул, но это был, скорее, вздох, который я произвел значительно раньше, чем удивился. Я приблизился к окну, чтобы позвать кого-нибудь, и вдруг, коснувшись рукой рамы, заметил над рукой острый, как толстая игла, отливающий серебром металлический осколок. Где-то в груди тоскливо заныло, будто разорвалось что-то. Я крикнул: "Гэн-сан!" Мне стало душно от атмосферы смерти, наполнявшей комнату, и я застыл в неподвижности.

Да, Гэн-сан был прав. Это был, несомненно, снаряд из автоматической пушки. Он пробил крышу, разнес доски потолка в мелкую щепу, усыпал все вокруг бесчисленными стальными осколками. Впившись в столбы, в татами, в стены, в чайный поднос, они холодно сверкали в лучах солнца, проникавших сквозь дыру на крыше.

Я стоял спиной к окну и молча оглядывал комнату, чтобы понять, что же все-таки произошло. Потом почему-то на цыпочках тихонько направился к стенному шкафу. На фусума, загораживавшей шкаф, виднелось три косых шрама, будто следы от острых когтей. Один из осколков, пробив край татами, лежавшего на полке, и оттого, видимо, замедлив свое падение, валялся на подушке, где я обычно

сидел. Два других осколка глубоко впились в боковые доски шкафа. Я поднял холодный осколок, положил его на ладонь и сел на подушку, приняв обычную позу. "Что бы было, если бы я сидел вот так, как всегда?" — подумал я, и мурашки побежали по всему телу. Странное это было ощущение! Судя по следам, оставленным осколками на фусума, один из них пронзил бы мне левую сторону груди. Другой попал бы в пах с правой стороны, а третий, вероятно, рассек бы левую щеку и, проткнув, будто вертел, язык, наткнулся на зубы и застрял там. Некоторое время я сидел как во сне и представлял себе страшные картины.

В тот день я лишь по чистой случайности направился не во флигель, а в подвал высокого дома. И снаряд попал в мою комнату, по-видимому, тоже совершенно случайно. Не мог же летчик целить специально в меня, получив информацию о том, что именно в этом доме находится мальчик, который собирается стать в будущем способным офицером. Думаю, что и летчик был очень молод. Возможно даже, что это был его первый вылет. В первой же атаке он сбросил бомбу точно в цель и, удивляясь сам себе, со взволнованно бьющимся сердцем незаметно залетел в черту города, а после этого, думая о том, как теперь не спеша вернется на свой корабль, где приятели поднесут ему чарку вина и он съест гору сыру, самодовольно напевая, он нечаянно нажал на кнопку. Несомненно, так оно и было. Как если бы мы, выйдя на прогулку в веселом расположении духа и мысленно рисуя радужные замки в небесах, произвольно пнули бы ногой камешек на дороге.

Я вдруг вспомнил о Наоко. Сегодня впервые я почувствовал тяжесть ее тела и вдохнул запах пота, исходивший от нее. Я представил себя окровавленного, склонившегося над столиком, с высушенным языком, проткнутым стальным осколком, и себя же сидящего на ступеньке между Наоко и холодной бетонной стеной.

Вот уж поистине прав Гэн-сан: где и когда погибнешь — неизвестно; смерть была совсем рядом, она стояла наготове с разинутым ртом. По-видимому, до сих пор я недооценивал то таинственное, что зовется случайностью или странным стечением обстоятельств. Похоже, несчастья и беды ловко минуют все препятствия и неожиданно обрушиваются на нас. Это открытие потрясло меня. Точно я краем глаза заглянул в бездонную пропасть. Нет, я не боялся умереть. Меня пугала бессмысленная гибель.

В ту ночь я и написал прощальное письмо. Писал его кистью на свитке, сильно волнуясь.

”Отец и мать, а также все, кто заботился обо мне! — вывел я. — Так не должно было случиться. Я не хочу подохнуть, как собака или кошка. Такая смерть для меня невыносима. Однако неизвестно, где и когда тебя убьют. Поэтому и случилось это. Вот все, что я хотел вам сказать”.

Я был своенравным ребенком. Таким паршивцем, что от всей души ненавидел иной раз своих близких, если мои желания не исполнялись. Получив нагоняй от матери, я, бывало, даже молился ведьме, чтобы она наслала на нее болезнь. Отцу показывал язык за его спиной, обзывал его стоеросовой дубиной. И еще много дурного помнил я за собой. Вместе со светлыми воспоминаниями о детских шалостях и наивном озорстве тяжкие воспоминания прочно засели в закоулках моей памяти; год от года они въедались все глубже, и казалось, скоро заполнят всю мою душу. Поэтому, я думал, если бы я, как мечтал, стал бы морским летчиком и погиб за родину, совершив какой-нибудь подвиг, мои грехи исчезли бы вместе с моей плотью, и тем самым я в достаточной степени искупил бы свою вину перед родителями. Сознаюсь, что у меня было тайное желание воспользоваться смертью во имя родины для того, чтобы уйти из этого мира, — я считал, что только смерть очистит мою душу.

Рассказав подробно обо всех своих дурных поступках, я закончил прощальное письмо извинениями за дважды позорную смерть. Свернул письмо в трубочку и сунул в конверт. Письмо стало похоже на цилиндр. Я упаковал его в белую марлю, взятую из перевязочного пакета, и положил на столик. Теперь оно напоминало кусок кости. Мне показалось, что я смотрел на свою собственную кость, извлеченную из моего тела. "Ну вот, можно и умереть со спокойной душой", — подумал я. Вся моя пятнадцатилетняя жизнь уместилась в этом свертке, а от меня осталась лишь оболочка, как пустой кокон от вылупившейся цикады. Я открыл окно, уселся на подоконник и, болтая ногами, принялся насвистывать. Вечер был такой, что казалось, вот-вот да и упадет какая-нибудь звезда.

Дней через десять как-то неожиданно окончилась война.

Сообщение о конце войны я услышал в пустой прихожей фруктовой лавки, где давно уже не выставляли никаких фруктов. Более десятка соседей, собравшись под приемником, установленным на пыльной полке, настороженно слушали радиопередачу. Из приемника исходил посторонний шум, и невозможно было разобрать, что там говорили. Иногда доносились обрывки речи, какой-то голос читал что-то тихим шепотом.

Когда передача кончилась, кто-то вдруг произнес над моим ухом: "Проиграли!" Я обернулся. За моей спиной стоял старый аптекарь. Он медленно открыл крепко зажмуренные глаза и посмотрел мне в лицо. Я почему-то стыдливо усмехнулся. Старик, глядя куда-то вдаль, сквозь меня, ясно повторил: "Япония проиграла". Он сказал это тихо, будто выдохнул, но неожиданность этих слов потрясла меня. Словно ледяной вихрь хлестнул по моей груди. Погасив усмешку, я кивнул старику, тихо вышел из фруктовой лавки и бросился со всех ног домой по

странно притихшей полуденной улице.

Не заходя в дом, я направился на задний двор к клену. Его пышные ветки бросали густую тень на землю. Я сел под деревом, прислонился спиной к стволу и обхватил руками колени. За амбаром виднелось небо без единого облачка. "Какое голубое!" — подумал я и прошептал тихо: "Япония проиграла..." По спине моей пробежали мурашки. Мне стало как-то не по себе от этих слов. До того они были неожиданными. Проиграла... Значит, войне конец? Потребовалось какое-то время, чтобы осознать это. И когда до меня дошло, что так оно и есть, я удивился своей тупости. Закрыв глаза, стал слушать звуки вокруг себя. Что же означает эта оглушительная тишина? До вчерашнего дня все было совсем иначе. "Вчера и сегодня. Вчера и сегодня", — прошептал я.

"Во всяком случае, теперь я наверняка не умру. Меня не убьют. Потому что война все-таки кончилась. Но тогда что же?" — оторопело подумал я и растерялся. Стало быть, коль я не умру, мне ничего не останется, как жить. И сколько же лет я буду жить? Не один десяток лет, наверное. Не один десяток лет! Мне почудилось, что тело мое отрывается от земли и взмывает в воздух. Я никогда не думал, что мне придется жить так долго. Все мы твердо верили, что жить долго — стыдно. Жизнь мальчика недолговечна, как лепестки вишни, учили нас. И мы должны были умереть года через два-три.

Десятки лет жизни! Я достал прощальное письмо из чемодана, который спрятал в дальнем углу бомбоубежища, и бросил его в огонь очага, над которым варился ужин. Я глядел на белый дым, и душа моя была как чистый лист бумаги. Смерть отдалилась куда-то далеко-далеко. Для чего теперь жить, было непонятно. Все, что происходило со мной до вчерашнего дня, казалось каким-то сном. Я забыл и о смерти, и о прощальном письме. Наoko

тоже, по-видимому, забыла меня. Пятнадцать лет моей жизни утекли, как вода из бочки, у которой вдруг вылетело дно. Теперь уж их не вернуть. И ничего не оставалось, как просто плыть, не задумываясь, в бескрайнее, безбрежное пространство, внезапно открывшееся передо мной.

Когда в наш город вошли оккупационные войска, я сразу же очень заинтересовался ими.

Весной следующего года я поселился в доме дяди. Дела отца в послевоенной сумятице пошатнулись, и семья наша была вынуждена остаться на некоторое время в эвакуации в одной из ближайших деревень.

Дядя мой держал в центре города магазин, где торговал главным образом тканями. Трехэтажное железобетонное здание магазина во время войны было реквизировано и превращено в предприятие по изготовлению деревянных маскировочных самолетов. После войны оно перешло в распоряжение оккупационных властей. Дядя собирался вновь открыть магазин, но так и не смог. Помещение магазина неузнаваемо изменилось. Его аляповато разукрасили, и оно стало местом увеселения солдат. На первом этаже открыли пивной бар, на втором — зал для танцев.

Моя комната находилась на втором этаже жилого дома, находившегося за магазином. Прежде она принадлежала моему двоюродному брату. Он погиб на юге за год до окончания войны, оставив вдову Мами с двумя маленькими сыновьями. Из открытого окна комнаты было видно здание магазина, обрамлявшее узкий внутренний двор в виде буквы "П". В детстве я, помню, как-то принес во двор небольшой камешек, и дядя сильно бранил меня за это. Теперь же дворик был усыпан клочками белой бумаги, которые валялись во мху и на дне засохшего пруда, висели на ветках деревьев. В сумер-

ках из окна справа, оттуда, где раньше была столовая, доносилась медленная музыка. Она была непривычна для моего слуха, воспитанного на военных маршах. Заслышав ее, я сразу как-то обмякал, делать ничего не хотелось, и я сидел у стола, подперев руками щеки.

Через три дня после моего переезда к дяде в доме случилось небольшое происшествие. Какой-то американский солдат забрался потихоньку в амбар на заднем дворе. Еще через день, вечером, опять произошло нечто подобное, и я стал тому свидетелем.

В тот вечер я сидел в задумчивости за столом, как вдруг из коридора послышался тяжелый удар о стену, затем еще два подряд, донесся скрежет металла, скрип петель и тяжелые неровные шаги по дощатому полу. Медленная музыка стала слышна сильнее, и я догадался, что была взломана дверь между жилым домом и бывшей столовой. Дверь эта была крепко заперта с момента реквизиции магазина. Я встал, удивленный. Топот шагов в коридоре медленно приближался к моей комнате. Шаги остановились у моей двери, и через мгновение дверь тихо отворилась.

Неожиданно я оказался нос к носу с огромным солдатом. Некоторое время мы с изумлением разглядывали друг друга. На поясе у него висел пистолет, как у обычного М. Р.¹, шея была обмотана белым кашне, и, судя по багрово-красному лицу, этот М. Р. принадлежал к самым отъявленным пьянчугам из всех американских солдат, которых я видел. Покрой его лица сильно впечатлял — казалось, все черты его колышутся вокруг орлиного носа.

— Что вам угодно? — спросил я.

Он небрежно показал карманным электрическим фонариком на повязку на рукаве с буквами М. Р.,

¹М.Р. (Military Police) — военная полиция (англ.).

потом пробормотал что-то невнятное, закрыл дверь и не спеша удалился по коридору. У дверей витал слабый запах алкоголя. "Да он пьян!" — подумал я.

На другой день после полудня вдова Маами и я отправились вместе со знакомым стариком переводчиком в штаб военной полиции, находившийся на третьем этаже. Мы собирались пожаловаться командиру части на хулиганские действия М. Р. Я пошел как свидетель ночного происшествия.

Войдя в штаб, я тут же заметил вчерашнего безобразного американца. Он сидел за самым большим столом в глубине комнаты и, видимо, был погружен в изучение каких-то документов. Мне стало как-то не по себе от его спокойствия. Нас провели прямо к его столу.

— Капитан! — обратился к нему переводчик. И, обернувшись к нам, сказал: — Это командир части.

Я едва не присел на корточки.

Капитан поднял глаза от документов, сощурился на вдову Маами и перевел взгляд на меня. Мы с еще большим изумлением, чем вчера, уставились друг на друга. Потом он поднял брови, решительно откинулся на спинку кресла и с усмешкой, понятной только мне, сказал: "Хелло, бэби!" Теперь, при свете дня, он выглядел значительно старше, чем прошлой ночью. Не переставая усмехаться, он обещал принять надлежащие меры и, приговаривая: "О'кэй! О'кэй!", подмигнул мне.

Возвращаясь из штаба, на лестнице второго этажа я встретил женщину, похожую на Сигэ.

Сигэ работала служанкой в нашем доме, когда мне было семь лет. Это была высокая, стройная женщина, и я звал ее "верзилой", а когда был не в духе, дразнил также и "лисицей", потому что у нее было продолговатое лицо с раскосыми глазами, уголки которых были вздернуты вверх.

Поддерживая одной рукой подол ярко-красного

открытого платья, другой скользя по перилам, женщина поднималась по лестнице. Когда между нами осталось метра два-три, она взметнула на меня взгляд и остановилась в изумлении. Я же, привлеченный обнаженными плечами и ярким платьем, лишь мельком взглянул на ее продолговатое лицо. И только спустившись на несколько ступеней, вспомнил, что где-то это лицо видел, и вдруг меня осенило: она похожа на Сигэ! Но Сигэ никак не могла очутиться здесь, в таком месте, и в такое время. Я оглянулся. Подол ярко-красного платья мелькнул в дверях штаба.

Я бы, наверно, сразу же забыл про эту женщину — тогда они меня как-то мало интересовали. Однако, вспоминая иногда выражение удивления на ее лице, я испытывал легкое недоумение и даже позволял себе воображать невесть что. Хотя желание встретить ее еще раз так и не возникло.

Однажды ясным днем я читал у себя в комнате, у открытого окна. Вдруг в мою комнату влетел белый сверток. Он упал на татами и рассыпался на несколько катышков в золотых и серебряных обертках, которые покатались в разные стороны. Я удивился, выглянул в окно и увидел женщину, которая смотрела на меня из окна дома напротив, отделенного от моего внутренним садиком. Расстояние, которое разделяло нас, не превышало и десяти метров, так что я отчетливо разглядел ямочки на ее щеках. "Да это Сигэ!" — подумал я. Но потом понял, что это была та самая женщина, которую я встретил на лестнице. Женщина подняла руку к лицу и помахала мне. Потом показала жестом в глубь моей комнаты, куда-то поверх моей головы, склонила голову набок и, тихонько усмехнувшись, исчезла за голубой занавеской.

Не переставая удивляться, я собрал рассыпавшиеся по комнате золотые и серебряные комочки. Один из них, продолговатой формы, был завернут

в тонкую белую бумагу. Я развернул бумагу, на ней женским почерком было написано:

"Вы занимаетесь? Вчера я очень удивилась, увидев Вас. Душа моя наполнилась нежностью. Окно Ваше как раз напротив моего, так что теперь я каждый день могу Вас видеть. Сегодняшняя "бомба" — мое маленькое угощение к чаю. Нана".

Нана? Наверное, это ее имя для танцевального зала. Значит, эта женщина и вправду Сигэ. От этой мысли на душе у меня потеплело. Вспомнив, что прошло уже десять лет с тех пор, как я не видел Сигэ, я подумал: "Какие только чудеса не случаются с людьми". Предаваясь воспоминаниям о прошлом, я незаметно для себя разворачивал одну за другой золотые и серебряные обертки и отправлял их содержимое в рот, пока совсем не объелся сладостями.

В сумерках Нана открыла окно и как бы незначай свистнула мне. Тогда и я открыл окно. Увидев меня, Нана склонила голову набок и тихонько усмехнулась. Мы встретились глазами. На ней опять было открытое платье. А когда она повернулась ко мне спиной, я увидел, что ее распущенные волосы падали ниже плеч. "Это для того, чтобы не видна была шея," — сразу же догадался я, припомнив, что на шее у Сигэ остался багровый шрам от вскрытого нарыва. В лучах заходящего солнца Нана показалась мне невысказанно красивой. Потрясенный, я глядел на нее, не в силах отвести глаз, и тревога охватила меня. При всем моем воображении я никак не мог представить себе, что это и есть та самая Сигэ, которая когда-то в нелепых момпэ¹, с волосами, собранными в пучок на макушке, раздувала огонь в очаге.

Так продолжалось недели две. Я стал испытывать странное волнение от этих свиданий с Нана. Иногда я слегка приоткрывал окошечко в коридоре и тайком поглядывал на Нана, которая, нахмутив брови,

¹Момпэ — женские рабочие шаровары.

смотрела на мое распахнутое настежь окно, не подававшее признаков жизни. Временами же мне доставляло необъяснимое удовольствие, не откликаясь на свист Нана, сидеть, понурившись, спиной к окну со сложенными на груди руками, сдерживая желание повернуться и открыть его.

И вот как-то поздно вечером, не в силах избавиться от наваждения, завладевшего мной, я придумал нечто ужасное.

Приоткрыв окно и убедившись, что в комнате Нана зажег свет, я потихоньку выскользнул из своей комнаты, крадучись прошел по коридору и нажал на ручку двери, которую взломал на днях капитан американской военной полиции. Как я и предполагал, дверь бесшумно открылась, и передо мной разверзлась темнота столовой. Ужасаясь своей наглости, я вступил в эту темноту, словно меня кто-то тянул туда. Поскольку я хорошо знал дорогу, то и направился прямо к комнате Нана, ориентируясь по слабому свету, проникавшему из окон. Покрытый кафелем пол был холоден. В столовой отчетливо раздавалось шлепанье моих босых ног.

Я остановился перед дверью, из-за которой пробивался свет, и прислушался на мгновение с поднятой рукой. Затем постучал три раза.

— Come in!¹ — раздался женский голос.

Я тихо открыл дверь. Сладко пахло сигаретным дымом. Комната, которая прежде служила кухней, была теперь роскошно убрана. Нана в белом платье сидела на стуле и расчесывала волосы.

— Джесси? — спросила Нана, не поворачивая головы.

Прижав руку к сердцу, готовому разорваться на части, я молча стоял в дверях. Продолжая расчесывать концы длинных волос, переброшен-

¹Войдите! (англ.)

ных на грудь, Нана искоса взглянула на меня и в ту же минуту вскочила. Сверкающий гребень выскользнул из ее волос и со стуком упал на пол. Я, словно во сне, направился к ней.

— Давно не виделись, Сигэ. — Я протянул ей руку, но, пораженный ее красотой, так и застыл с протянутой рукой.

Нана улыбнулась.

— Добро пожаловать, Осаму, — сказала она и пожала мою руку.

Она назвала меня чужим именем! Я горько усмехнулся. Забыла, как зовут, — все-таки десять лет прошло.

— Я не Осаму. Ты запомнила.

— Я знаю, что ты не Осаму. Но ты очень похож на него, — сказала Нана.

— А кто это — Осаму? — спросил я.

— Мой младший брат. Единственный родной человек, и тот погиб на фронте. Вы с ним похожи как две капли воды.

Образ Сигэ, поселившийся в моем сердце, стал вдруг тускнеть. Я почувствовал, что задыхаюсь. Казалось, все вокруг странным образом преобразуется. И женщина, стоявшая передо мной, так похожая на Сигэ, стала на моих глазах превращаться в какую-то другую женщину.

— Значит, в письме вы писали о нежности потому, что я похож на вашего брата? — спросил я.

— Ну да.

Я тяжело опустился на софу. Нана встала, чтобы достать из чемодана бумажный пакет.

— Вот фотография брата и его последнее письмо.

Юноша в летной форме, не достигший и двадцати лет, гордо стоял под банановым деревом и смущенно улыбался. Сколько раз я представлял себя именно в такой форме! Большие глаза и странно белые зубы выделялись на лице — видимо, он сильно загорел. Я посмотрел на фотографию и подумал: похож.

— Правда похож? — спросила Нана.

— Нисколько, — пренебрежительно бросил я. Нана весело засмеялась.

— Нет, похож. Об этом может судить только тот, кто долго жил вместе с ним.

Мне любопытно было взглянуть на его последнее письмо. Такое письмо в определенном смысле можно рассматривать как прощальное. Это оказалась захватанная руками открытка. По адресу я понял, что Нана было настоящим именем женщины. На открытке стоял штамп одной из военно-морских баз на острове Кюсю, но писали ее, видимо, на передовой базе южного фронта.

”Дорогая сестра Нана! Наверное, теперь в Японии стоит прекрасная погода. Здорова ли ты? Дня три назад я видел тебя во сне. На мне была соломенная шляпа, а у тебя на голове красный платок. Вокруг паслось много коров и овец. Я вылетаю завтра утром. Будь здорова. Завтра мне как раз исполнится девятнадцать лет. Осаму”.

Я изумился беспечному тону письма. Оно было написано радостно, будто сообщало о веселом пикнике. Я вспомнил себя в годы войны, и сердце мое защемило от боли. Сколько же молодых людей пошло на смерть вот так, беспечно, будто отправляясь на пикник!

— Я буду вам младшим братом, пока вам не надоест, — сказал я, глядя прямо в лицо Нана.

— Да? Я рада.

Нана положила руки мне на плечи и тряхнула меня несколько раз. Глаза ее сияли. ”Надо уходить”, — подумал я.

— А я думал, вы Сигэ, — признался я, вставая с софы.

— Кто это — Сигэ?

— Служанка. Давно как-то у нас в доме жила. Издали вы очень на нее похожи, а вблизи значительно красивей.

Нана громко засмеялась.

— Странно! Оба вспомнили похожих на кого-то людей.

В дверях я оглянулся.

— Знаете, у Сигэ сзади на шее был шрам после операции.

— Да? Не успокоишься, пока не узнаешь, что его нет?

Нана усмехнулась, взяла мою руку и сунула ее под волосы. Передо мной сверкнула алмазной белизной ее шея, от лица исходил какой-то прекрасный аромат. Тонкая шея Нана была совершенно гладкой.

— Ну как? Есть шрам?

Не отнимая руки, я взглянул ей в лицо и улыбнулся. Я уже не видел ее губ, лоб мой стал горячим.

— Спокойной ночи, — сказал я.

Шлепая по полу босыми ногами в темноте столовой, я пошел к двери, ведущей в коридор. И, шагая, шептал сам себе: "Пусть не Сигэ, пусть не Сигэ!"

Нана снилась мне каждую ночь. Иной раз целыми днями я только и делал, что думал о ней. Не выдержав, трижды незаметно пробирался к ней в комнату. Нана задумчиво смотрела на меня, рассказывала о брате, а на прощанье целовала у дверей в лоб.

Когда я в четвертый раз прокрался в ее комнату, Нана оказалась очень пьяна. Она громко смеялась, хотя глаза ее были полны слез, и вдруг, вертя в руках пустую бутылку из-под виски, выпалила:

— Лучше умереть, чем так жить! — Потом сказала: — Я научу тебя танцевать, — и, прижавшись грудью к моему лицу, затряслась вместе со мной в танце.

Когда я уже собирался уходить, в дверь постучали. Нана окаменела, затем быстро обвела комнату взглядом и, со страхом глядя на меня, дрожащим голосом пригласила:

— Come in!

Дверь отворилась, и в комнату грузно ввалился капитан М. Р.

— Джесси! — тихонько воскликнула Нана.

— О! — рявкнул он удивленно, увидев меня, и мы в третий раз злобно уставились друг на друга. — Ты как сюда пролез? — резко спросил он.

— Через дверь, которую вы на днях вышибли ногой, — мгновенно ответил я.

Брови его поднялись, он удивленно заморгал. Нана хотела что-то сказать, но он холодно взглянул на нее и рявкнул:

— Молчать! — Затем, заложив руки за спину, веско приказал мне: — Пошел вон!

Я взглянул на Нана. Она стояла лицом к окну.

— Сделай так, как велит Джесси, — сказала Нана пронзительным голосом.

— До свидания! — бросил я ей в спину и пошел.

— И больше не приходи! — крикнул в догонку Джесси.

— Разумеется, не приду, — сказал я, обернувшись, и торопливо вышел из комнаты.

В коридоре, закрыв за собой дверь, я долго стоял, прислонившись к ней спиной. Потом пошел в свою комнату и выглянул в окно. Света в комнате Нана не было. "Теперь уж вряд ли взгляну когда-нибудь на это окно", — подумал я. Весь вечер я промучился из-за Нана. Сначала я ничего не понимал. Потом мало-помалу начал догадываться. А когда окончательно сообразил, в чем дело, на душе стало еще невыносимей.

Днем я носился, весь в поту, по стадиону под палящими лучами солнца. Вечером, купив в лавочке на окраине города дешевые сласти и пыльные фрукты, шел в парк, садился там под гинкго в кружок с четырьмя-пятью непутевыми приятелями и, отбивая такт ногой, орал во все горло военные песни. Так

я выражал свое негодование тем, что Япония проиграла войну.

Однажды утром в начале лета я почувствовал вдруг сильную резь в животе. Меня прохватил кровавый понос, от которого просто темнело в глазах. Я обливался липким потом от страшной боли в животе, казалось, кто-то ворочает палкой в моих внутренностях. Я знал, что со мной случится что-то плохое! У меня странная способность предчувствовать беду. Поэтому, когда я кое-как добрался до знакомого врача и услышал от него название болезни, я ничуть не удивился. Учитывая положение моего дяди, родственники поместили меня тайком в одну из больниц города.

Там, в грязной палате, я и провел самый жаркий летний месяц. Это было своего рода спасением для меня. Я весь ушел в болезнь, ни о чем другом не думал. Я и вправду все забыл. А когда однажды вспомнил о Нана, меня чуть не вырвало.

Однажды глубокой ночью, когда дело уже шло на поправку, я встал с постели с помощью пожилой сиделки, чтобы сходить в туалет. В зеркале, висевшем на столбе у моего изголовья, я увидел отражение чьего-то лица. "Господи! Кто это? Что за жалкий тип!" — подумал я. Щеки ввалились, глаза казались огромными, величиной с кулак. Однако, приглядевшись, я понял, что это я сам и есть. Я мрачно смотрел на свое изменившееся лицо. И тут лицо в зеркале куда-то отдалилось, и я потерял сознание. Сколько длилось мое беспамятство, не знаю, только когда я очнулся, то увидел, что лежу на полу, раскинув руки, а подо мной беспомощно барахтается пожилая сиделка. Поднявшись, я взял градусник, чтобы померить температуру. Он мелко дрожал в кончиках моих пальцев, и я увидел, что толстая красная нить протянулась от отливающего серебром конца градусника. Я поспешил стряхнуть его. Сиделка спроси-

ла, сколько набежало, но я не мог ответить. Наверное, легкий спазм мозговых сосудов, сказала женщина.

Я лежал с горячей головой и рассеянно глядел на черный потолок. С потолка свисала тусклая лампочка. Черный потолок с ужасающей скоростью уносился вверх, уменьшаясь до крохотного квадрата, а затем стремительно падал вниз и накрывал всю комнату. Он становился все больше и больше, с каждым разом опускался все ниже и ниже, нависал надо мной... "Умираю", — подумал я. И тут впервые за время болезни вспомнил о смерти. Неужели вот так и умру? Умереть от болезни! Это что-то совершенно новое. До сих пор мне и в голову не приходило, что такое может случиться. Более жалкой смерти и не придумаешь! Комок подступил к горлу.

— Тетушка! Карандаш и бумагу, — попросил я.

С трудом перевернувшись на живот, я на обороте клочка бумаги, похожего на рецепт, карандашом, показавшимся мне странно невесомым, нацарапал: "*Не хочу умирать*".

Сжимая карандаш в руке, растерянно огляделся вокруг. Какие это были кощунственные слова! И все же они шли из глубины души. Что же еще написать напоследок? Вцепившись покрепче в скользкий карандаш, я добавил еще одну фразу: "*Глупая Нана*".

Я недоуменно глядел на эти две строчки. Что это? Мне нечего сказать? В глазах у меня потемнело, карандаш выпал из руки, голова тяжело уткнулась в подушку.

Если подумать, то я ведь ни одного дня не жил спокойно с тех пор, как кончилась война и жизнь и смерть поменялись местами. Я лишь глазел вокруг, качаясь на волнах жизни. И тут из глубины моего потухшего сознания вдруг яростно, как никогда прежде, донеслось:

Я хочу жить!
Я буду жить!
Спасите меня!

К счастью, я выкарабкался из болезни.

Потом прошло семь лет. Это были годы позора и раскаяния, но с тех пор и поныне мне никогда не приходилось видеть чье-либо предсмертное письмо или писать его самому.

А ведь это же счастье!



Красная юбка

I

Рёсаку не думал, что Хидэ, его младшая сестра, так серьезно отнесется к его приглашению и сразу же приедет в Наори. Он хотел лишь вселить маленькую надежду на будущее в сердце сестры, уже невесты, которая осталась одна в глухой деревне подле больной матери. "Не

выберется ли она как-нибудь к нему в город с ночевкой — передохнуть от деревенских забот?” — написал он ей. Слова эти, подумал он, как-то ободрят сестру, у которой не было никаких радостей в жизни.

Однако от Хидэ тотчас же пришла открытка. Она сообщала, что матушка отпустила ее в город на один вечер и она выезжает в субботу утренним поездом. Это было полной неожиданностью для Рёсаку. Он даже слегка растерялся, хотя сам же и пригласил сестру.

Растерялся он не потому, что приезд Хидэ доставил бы ему какие-то неудобства. Она бы нисколько не стеснила его. И все же внезапное появление сестры, неотлучно находившейся в деревне у прикованной к постели больной матери, напугало его. ”Уж не сбежала ли она потихоньку из дома? И не разбудил ли он в ней ненароком своенравного ребенка?” Вот что всполошило его.

”Но нет, — подумал он, — Хидэ не такая девушка. Она не из тех, кто позволит себе натворить что-нибудь тайком от матери”.

Открытка была написана карандашом, но слова будто плясали. Бросались в глаза черные, как тушь, иероглифы — наверно, то и дело облизывала грифель. Ему показалось, что он слышит, как бьется сердце его восемнадцатилетней сестры. Перечитал открытку еще раз, и душа его запела.

Рёсаку поспешно бросился прибирать комнату. До субботы оставалось еще четыре дня, и с уборкой можно было бы повременить, но ему не сиделось на месте. Работал он плотником на маленькой верфи на окраине порта и там же, при верфи, жил. Ютился в жалкой каморке величиной в три татами на втором этаже сарайчика, где хранились инструменты. Но именно потому, что каморка была крошечной, ее надо было тщательно прибрать.

В субботу Рёсаку вдруг проснулся ни с того ни с сего задолго до восхода солнца. В комнате было темно. На посветлевшем небе, видневшемся в незашторенное окно, тускло светили поблекшие звезды.

Хидэ как раз вышла из дома, подумал он, глядя на тусклые звезды. Чтобы попасть на утренний поезд, из дома надо выйти еще затемно и спуститься по узкой тропинке до станции у подножья горы. Деревня их находилась высоко в глухих горах.

Откроешь деревянную дверь позади дома — свет вырвется из сеней во тьму, и тень твоя длинно вытянется и закачается впереди тебя самого. Холодный горный воздух сразу же заберется за шиворот. Ему ясно вспомнилось ощущение холода, когда рано утром выходишь из дома, и он натянул тощее одеяло до самого носа.

Однако беспокоиться за сестру, находясь в городе, не имело никакого смысла. Возможно, даже и беспокоиться-то было не о чем. Хидэ, получив от матери разрешение съездить к брату, радостно спешит сейчас на поезд.

До полного рассвета было еще далеко. Он закрыл глаза и решил вздремнуть немного, но вдруг услышал какой-то звук — то ли шорох, то ли шарканье. Открыл глаза, приподнял голову — ничего не увидел, а звук пропал. "Наверно, почудилось", — подумал он.

Положил голову на подушку, смежил веки и снова услышал: шур-шур... Не открывая глаз, внимательно прислушался. Непонятно было, откуда доносится звук. И у самого уха слышно, и откуда-то издали.

Что же это такое? Словно кошка лакает суп из миски. Или утренний ветер поднялся на море. Налетит ветер, море в бухте чуть слышно зашумит, и волна тихонько лизнет причал верфи. Но для морской волны шорох был слишком тороплив.

Он открыл глаза. Из окна было видно утреннее звездное небо. И тут он вдруг понял, что это было. Это были шаги сестры. Она торопливо спускалась с горы, шаркая кедами по горной тропинке, на которую пала ночная роса.

Он удивился. Не может быть, чтобы шаги человека, идущего где-то в горах, на расстоянии многих десятков ри¹, слышались так отчетливо. Закрыв глаза, и опять послышалось: шарк-шарк... Да, это шаги сестры.

Он грустно улыбнулся с закрытыми глазами, подумал: "Скучаю очень по сестре, вот и чудится всякое". И проснулся вдруг среди ночи, потому что померещилось, будто она идет. Обычно он просыпался с восходом солнца, когда утренние лучи падали на его веки. Потому-то и удивился сегодня своему необычному пробуждению.

Потревоженный шарканьем шагов, спать он уже не мог. Быстро вскочил с постели, оделся и вышел. Делать особенно было нечего. Он двинулся вдоль причала к соседнему заводу, изготавливавшему какие-то железобетонные конструкции. Пройдя довольно далеко, остановился, подумал: "Хорошо, что день собирается быть ясным". Море было спокойным, а небо на горизонте холодно блестело, как длинный меч, положенный набок.

"Вернется Хидэ в деревню, и зима уже не за горами", — вдруг пришла ему в голову мысль, и он вздрогнул от пробравшего его озноба.

III

Поезд, на который села Хидэ, прибывал на станцию Наори в одиннадцать пятьдесят. Рёсаку сходил на станцию и уточнил это в тот день, когда получил от Хидэ открытку. Шел уже двенадцатый час, а он почему-то медлил. Наконец хозяин напомнил ему:

¹Ри — единица длины, около 4 км.

”Эй! Скоро уже половина двенадцатого. Иди встречать сестру-то”.

Рёсаку вышел с верфи и, придерживая карман джемпера, бросился бежать со всех ног.

Если бы он направлялся прямо на станцию, спешить не надо было. Но ему нужно было еще заглянуть на почту и снять немного денег со сберегательной книжки. Была суббота, и почта работала не полный день, так что, встретив Хидэ, он не успел бы уже получить деньги.

Он ворвался на почту, вынул из кармана джемпера сберегательную книжку и личную печать, положил ее у окошечка контролера, но печать скатилась и упала на бетонный пол. Он тут же поднял ее, обдул и просунул в окошечко. Женщина-контролер с подозрением взглянула на него. Он сильно запыхался.

— Извините. Торопился очень... — сказал он, заискивающе поклонившись.

— Ваше имя?

— Итиномори Рёсаку. Двадцать один год.

Он сообщил и свой возраст, хотя никто его об этом не спрашивал, и подумал: ”А зачем она интересуется именем, оно же в книжке написано”. Контролер посмотрела в книжку и, нахмутив брови, стала разглядывать печать. Он забеспокоился: ”Что это она нашла там странного?”

— Сестра из деревни приезжает. Вот я и... — сказал он поспешно, понимая, что говорить это все не обязательно.

— Хорошо, что не хрустальная.

Женщина мельком взглянула на него, улыбнувшись краешками губ. Это она о печати, понял Рёсаку. Была бы, мол, хрустальная, раскололась бы, когда упала на пол. Он вздохнул с облегчением и застенчиво улыбнулся в ответ: где уж, мол, нам иметь хрустальную печать!

— Грошова... — сказал он, вытащил из-за пояса полотенце и вытер потное лицо.

Выйдя из почты, он снова бросился бежать.

Хидэ, смущенно опустив глаза, прошла с перрона в тесной толпе пассажиров. Рёсаку, ожидавший у киоска, увидел ее и догнал, когда она уже вышла из вокзала. "Эй" — окликнул он ее сзади. Хидэ испуганно остановилась и, жмурясь от солнца, взглянула на него.

— Ну вот я и приехала, — сказала она. На глаза ее навернулись слезы.

Рёсаку никогда не приходилось встречать ни родственников, ни вообще кого-либо, и он не знал, что надо говорить в таких случаях. Моргая глазами, он сказал только:

— Спасибо.

Волосы Хидэ, как и прежде, были заплетены в косички, на ней была черная стеганая куртка, похожая на мужскую, и короткие, чуть выше колен, брючки мышинного цвета. В руке она держала тяжелый узел.

— Пойдем! — сказал Рёсаку и выхватил у нее узел. Округлый на вид, он оказался значительно увесистей, чем на первый взгляд. Из-за тяжести узелок на нем туго затянулся и стал как камень. — Что у тебя здесь? — обернулся Рёсаку.

Хидэ трусцой догнала его и сказала:

— Каштаны и рис. Половина — подарок для твоего хозяина, половина — тебе.

"А для чего рис?" — подумал он. Оказалось, мать велела взять, чтобы сестра не объела его.

— Все заботится матушка, — засмеялся он. И, чувствуя, что лицо его как-то странно скривилось, спросил, глядя прямо перед собой: — А что, она здорова?

— Здорова.

Рёсаку молча кивнул. Он понимал: давно болевшей матери просто не стало хуже. Даже полегчало немного, если отпустила к нему.

Они пересекли площадь и вошли, как он и задумывался,

мал, в кафе "Кит". Время было обеденное, народу много. К счастью, один из посетителей встал из-за стола, и они уселись рядышком на его место.

— Выбирай, что хочешь, — прошептал он на ухо Хидэ и, скосив глаза на карман джемпера, похлопал по нему ладонью: о деньгах, мол, беспокоиться нечего.

Хидэ взглянула на меню, приклеенное к стене, отвела глаза и, смутившись, сказала тихо:

— Мне все равно. Что ты возьмешь, то и я.

Под потолком висел дым от жареной сайры. И он подумал: "Если все равно, то сойдет и сайра". В деревне у них рыбу не ели. Разве что изредка бродячие торговцы приносили, но только сушеную. Свежей рыбы в деревне и в глаза не видели. Хидэ, конечно, отродясь не пробовала сайры, жаренной с солью.

— Две порции сай... сай... сайры и рис на двоих! — заикаясь, крикнул хозяин кафе на кухню.

Может быть, оттого, что утром Рёсаку встал слишком рано, он проголодался к обеду сильнее обычного, и потому, получив миску с рыбой, бросил Хидэ: "Ну ешь!" — и принялся уплетать сайру, не глядя на сестру. Однако Хидэ опустошила свою миску раньше его.

— Уже съела? — спросил он, положив палочки. Хидэ поежилась.

— А я с утра ничего не ела.

В ее миске от сайры осталась только голова и толстые кости. Остальное все исчезло, даже ребра.

— Вкусно было?

— Вкусно, только... — Хидэ нахмурилась и показала рукой на горло.

Он грустно улыбнулся.

— Ребра трудно проглотить было?

— Да нет, в горле что-то колет. Будто шип вонзился.

"Ну значит, кость застряла", — подумал Рёсаку. Надо проглотить комок риса, не разжевывая. Но в миске у Хидэ было пусто.

— Возьми мой рис и проглоти кусок целиком. Глотай, быстро!

Он передал ей свою миску. В деревне говорили в таких случаях: "Глотать со слезами". Может, оттого, что человек, когда рыдает, жевать не может.

Хидэ набивала рот рисом из его миски и, выпучив глаза, проглатывала его. Он легонько стучал ей по спине, озираясь по сторонам. Когда кость наконец проскочила, риса в его миске не осталось.

— Надо мной тоже частенько потешались оттого, что я, когда приехал в город, все давился рыбьими костями, — утешал он смущенную Хидэ, выйдя из кафе. — Все давятся, пока не привыкнут. Зато городские жители язык царапают, когда едят каштаны.

С большой улицы они вышли на берег моря, и тут он вдруг заметил, что Хидэ шаркает ногами точно так же, как ему послышалось утром, еще до рассвета. На ней были старые кеды, и стертými подошвами она тихонько шаркала по асфальту.

— Ну конечно... — прошептал он.

— Что?

— Да так, ничего особенного.

V

Они зашли к хозяину верфи, и Хидэ церемонно представилась, чем удивила Рёсаку. "Смотри ты, какая самостоятельная!" — подумал он, вспомнив, как несколько лет назад он сам, пробормотав что-то невнятное, лишь поклонился хозяину.

Уплетая вареные каштаны в каморке на втором этаже сарая, Хидэ вдруг тихонько хихикнула.

— Что это ты? — удивился Рёсаку, но она, как и он на улице, ответила:

— Да так, ничего особенного.

— Разве можно смеяться ни с того ни с сего, когда сидишь за едой рядом с другим человеком? — рассердился он. Тогда Хидэ, выплюнув в окно червивый кусочек каштана, сказала, не глядя на него:

— Просто я подумала, что ты стал настоящим мужчиной.

— Еще чего!

Он почувствовал, что краснеет. И с удивлением заметил, как Хидэ тоже зарделась у него на глазах. Он почему-то смутился, однако не придал этому значения.

— Поживешь в городе года три и тоже станешь настоящей женщиной, — сказал он.

Он продолжал есть каштаны, а когда поднял глаза, увидел, что Хидэ стоит у окна и смотрит на море. Она уже не смеялась. Румянец погас на ее щеках. Профиль ее был печален — никогда прежде он не видел ее такой печальной. У него зануло сердце.

— Что с тобой? Каштанов больше не хочешь?

— Нет, каштанов больше не хочу, — сказала Хидэ, щурясь на море. И, помолчав, прошептала: — В городе, говоришь...

Он понял, что сказал не то, что надо. Жестоко говорить девушке на выданье, обреченной жить в глуши: "Поживешь в городе года три..." Но не мог же он сказать, что она должна похоронить себя в деревне ради безнадежно больной матери.

— Ну ладно, не огорчайся. Скоро и ты переедешь в город. Потерпи немного.

Он думал утешить сестру и не предполагал, что она рассердится, а Хидэ вдруг совершенно неожиданно вспылила:

— Ты хочешь сказать, подожди, мол, пока матушка умрет?

Он вздохнул и промолчал. Они долго молчали.

VI

Под вечер Рёсаку повел Хидэ на берег моря, хотел развлечь ее немного. Место было не такое уж примечательное — холодная северная бухта, — однако прогулка сверх ожидания чудесным образом подняла настроение Хидэ. Уже само море было ей в диковин-

ку. Хидэ собирала мелкие ракушки на прибрежном песке, играла с набегавшей волной, рисовала палочкой на мокром песке картинки и иероглифы — словом, забавлялась, как дитя, хотя даже здешние дети старше пяти лет не стали бы развлекаться таким образом.

Глядя на Хидэ, он успокоился, и в то же время чувство жалости к ней усилилось. "Я должен много работать, — подумал он. — Буду прилежно трудиться и заберу тогда мать и сестру в город".

В тот же вечер он отвел Хидэ в баню. В деревне было бы достаточно и раз в два месяца посидеть в бочке с горячей водой, а тут приходилось ходить чаще. Хидэ обещала мыться всего час, однако он прождал ее у бани лишние полчаса.

Наконец Хидэ выбежала из бани, на ходу извиняясь. Увидев ее, Рёсаку вытаращил глаза от изумления. Перед ним стояла совсем другая девушка. То ли оттого, что волосы ее были чисто вымыты, или потому, что она раскраснелась после бани, только Хидэ была совсем не похожа на себя.

— Ну вот и красавицей стала, правда? — сказал Рёсаку.

Хидэ усмехнулась и показала ему язык. Даже губы ее были теперь очерчены по-другому.

— Моюсь, моюсь, а грязь все не слезает. Вот потеха!

У них в деревне вместо "Вот стыд-то!" говорили: "Вот потеха!" Знакомое словечко напомнило Рёсаку родной деревенский вечер.

Возвратившись в каморку, Рёсаку молча расстелил свой единственный матрас.

— Подушку возьмешь себе, — сказал он сестре.

Хидэ промолчала, увидев одну постель, только заметила:

— А как же ты без подушки?

Он засмеялся:

— Ладно уж. Пусть хоть подушка у тебя будет настоящая. Из деревни привез. Набита гречишными обсевками!

По правде говоря, хозяйка предложила ему постель для Хидэ, но он отказался: чего там, на одной уместимся. Он стеснялся обременять хозяев присутствием своей сестры. Подумал: хватит и одной постели. В деревне они спали с сестрой на одном матрасе. Так повелось с детства, и он к этому привык.

Однако в тот вечер, увидев Хидэ в рубашке и трусах, он невольно отвел глаза. Хидэ как-то незаметно для него выросла в настоящую девушку: налилась грудь, оформились бедра, стали упругими икры. Они лежали на спине рядом, и им было неловко касаться друг друга. Рёсаку чувствовал себя не совсем в своей тарелке. И, засмеявшись, спросил:

— Ну как, не свалишься с матраса?

— Нет, а ты?

— Не беспокойся...

От свежеемытого тела Хидэ исходил незнакомый сладковатый запах, щекочущий ноздри. Он старался не задевать ее, но невольно касался и чувствовал, что кожа ее была горячеей, гладкой и нежной.

— Пожалуй, вот так лучше будет, удобнее, — пробормотал он себе под нос, повернулся к ней спиной и вздохнул. Они помолчали.

— А ты не хотел бы жениться, братец? — спросила Хидэ. Голос был смеющийся, но даже на шутливый вопрос Хидэ отвечать не хотелось.

— Когда-нибудь женюсь, — сказал он.

— Когда же?

— Не знаю. Не скоро, видно, раз не знаю. Я ведь еще ученик. Пока об этом не задумывался.

Хидэ молчала. Не потому, что ей нечего было сказать. Просто она не могла открыть брату то, о чем кричала ее душа.

— А к тебе многие, наверно, сватаются, — заметил он в свою очередь просто так, без всякого умысла. Хидэ помолчала, потом сказала:

— Все больше мужчины за сорок.

Теперь была его очередь молчать. О чем тут спра-

шивать? Ему, уроженцу деревни, и так все было ясно. Раз сватаются женихи за сорок, значит, во всех деревнях окрест не осталось ни одного холостяка моложе. Зато полным-полно мужчин на пятом десятке, все еще не обзаведшихся семьями. Это были взрослые мужчины, младшие братья и сестры которых уехали работать в город. Рёсаку и сам был одним из них, и не ему было утешать Хидэ, потому что он отказался бы вернуться в деревню, даже будь у него старший брат и вдруг умри.

Ему стало трудно дышать.

— Давай завтра походим по городу, — переменял он тему разговора. — Куплю тебе что-нибудь. Чего бы ты хотела?

— Что-нибудь из одежды, — охотно сказала Хидэ, и Рёсаку вздохнул с облегчением, радуясь ее простодушию.

— Кимоно?

— Нет, европейскую одежду. Но платья не надо. Я их не носила. Блузку или юбку...

Рёсаку вспомнил, что Хидэ была в коротких, выше колен, брючках, и сказал:

— Я куплю тебе мини-юбку.

— Мини?! — не то воскликнула, не то выдохнула восторженно Хидэ.

— Ты какой цвет любишь?

— Цвет "китайского фонарика", — сразу же сказала Хидэ.

— Ага! Значит, красная мини-юбка.

Будто не веря ему, Хидэ помолчала немного, потом тихонько уткнулась лбом в его спину. И вскоре послышалось ее сонное дыхание.

VII

Однажды, дней через десять после того, как Хидэ уехала обратно в деревню, Рёсаку неожиданно навестил родственник, старик Ёго из соседней деревни. В тот день Рёсаку сидел на пустыре неподалеку

от причала и, расстелив на сухой траве циновку, точил тесло. И когда он увидел медленно плетущегося к нему старого Ёго, ему показалось, что и без того сумрачный день вдруг потускнел.

— Дедушка! — прошептал он и вскочил на ноги.

Старик подошел к нему и бросил вдруг, даже не поздоровавшись:

— Едем в деревню!

Застигнутый врасплох, Рёсаку молчал, ничего не понимая.

— Хидэ умерла, — пояснил старик.

Рёсаку молча глядел на него широко открытыми глазами.

— Повесилась на каштане за домом, — добавил старик.

Рёсаку пошевелил губами, но не издал ни звука — слова будто застряли в горле.

— На ней была красная юбка, что ты купил ей, а на шее бусы из ракушек...

Рёсаку затряс головой, дрожа как осиновый лист.

— Неправда! Не может быть! Неправда все это!

— Нет, правда, — твердо сказал Ёго. Рёсаку перестал дрожать и ошеломленно уставился на старика. — В кармане у Хидэ нашли письмо от тебя.

Старик вытащил из кармана штанов для верховой езды сложенное в несколько раз письмо.

Рёсаку развернул листок. На нем красной шариковой ручкой было написано несколько строчек. Но рука его так дрожала, что он не разобрал ничего и поднес листок к глазам, будто близорукий. На листке было выведено:

Надела я красную юбку,
Что брат купил мне в подарок,
И пошла по своей деревне...
Никто не попался навстречу,
Никто не взглянул на меня.

Дошла до соседней деревни —
И там ни души не осталось,
И в третьей деревне тоже
Пустынная тишина.

В красной короткой юбке
Шла я по улицам сонным,
И ни один мужчина
Не вышел навстречу мне.

Рёсаку растерянно глядел на старика. Тот взял у него письмо и сунул в карман штанов.

— Уж не я ли ее убил? — прошептал Рёсаку. И, вцепившись обеими руками в собачий воротник куртки, тряхнул старика. — Скажи, дедушка! Это я убил Хидэ?

— Не говори ерунды, — сказал старик спокойным голосом. — Ты только купил ей красную юбку. А Хидэ надела ее и умерла. Только и всего.

У Рёсаку тряслись колени. Он еле держался на ногах, но старик торопил, и он пошел. И тут он услышал сзади шаги. Он остановился и оглянулся. Но мертвая Хидэ никак не могла быть здесь. Это поднялся ветер, и волны с шелестом набегали на причал. А далеко за причалом простиралось сумрачное море. Оно напоминало ему печальный профиль Хидэ у окна в тот день, когда она приезжала в гости.



Пчела

Сима не повезло. В тот день, когда муж должен был вернуться домой после долгой отлучки, пчела ужалила ее в грудь.
"Нет чтобы вчера ужалить! — подумала она. — Или на другой день. Тогда пусть бы хоть три или четыре раза тяпнула. А тут на тебе! Теперь

уж ничего не поделаешь. Вот ведь беда какая!”

Пчела притаилась на изнанке юката. Утром Сима вывесила его проветриться на сушилке для сжатого риса. А когда потом набросила его на распахнутое нижнее кимоно, почувствовала вдруг резкий укол. Сима стала испуганно хлопать себя по груди — под ноги на шершавый татами что-то упало. Это была пчела. Она лежала брюшком вверх, подергивая длинными лапками.

Сима еще накануне заметила, что у сушилки стали часто летать пчелы, но не думала, что они могут забраться в юката.

Она тут же раздавила пчелу пяткой. Тупая ноющая боль в груди становилась все сильнее. Места укуса не было видно, но грудь вокруг соска онемела.

До сих пор ее ни разу не жалили пчелы, и Сима не знала, что надо делать в таких случаях. Она посплюнявила палец и помазала слюной вокруг соска. Покойная мать часто ее так лечила, когда она в детстве, бывало, являлась домой, искусанная комарами.

Подняв руки, чтобы снять с шеста свое ночное кимоно, Сима опять почувствовала острую боль — будто в грудь вонзилась колючка. Боль все распространялась и теперь уже была не тупой, а резкой.

”Надо было хорошенько осмотреть кимоно, прежде чем надевать”, — с досадой подумала Сима, направляясь к дому. Из дальней комнаты послышался плач младенца.

— Сейчас, малыш! Потерпи!

Сима положила проголодавшегося ребенка на колени, расстегнула блузку и испуганно вскрикнула: грудь покраснела и распухла, сосок стал совсем крошечным, краснота сползла в ложбинку между грудями.

— Что там у тебя?

Больная свекровь, делавшая вид, что спит, открыла глаза и посмотрела на Сима.

— Да вот... пчела ужалила, — смущенно сказала

Сима. И подумала при этом: "Как дитя малое!"

— Тьфу! — презрительно бросила свекровь и опять закрыла глаза. Когда ребенок затих у здоровой груди невестки, она сказала, не открывая глаз: — Смаза-ла бы хоть змеиной настойкой.

Змеиная настойка была домашним средством от всех хворей. Делали ее так же, как и змеиное сакэ. Только настаивали на спирту змеиные молоки.

Покормив ребенка, Сима достала с полки бутылку со змеиной настойкой, осторожно вынула раскрошившуюся пробку. В нос ударил резкий запах, в глазах защипало. Сима намочила палец лекарством и тут заколебалась, вспомнив о муже. Такой аромат вряд ли кому понравится. А вдруг он отвернется от нее, если она будет так благоухать? Смутная тревога охватила ее сердце. Но раздумывать было некогда.

"Ладно. Соседи приглашали сегодня вечером помыться в бане, — подумала она, — там и отмою все мылом как следует". И еще раз смочила палец настойкой.

Тщедушный на вид муж Сима, прижимая к себе небольшой дорожный чемодан, спрыгнул с поезда. Увидев жену с ребенком за спиной, он попытался изобразить приветливую улыбку, но она тут же сползла с его лица, и он с хмурым видом пошел по перрону навстречу.

— Вот я и приехал, — сказал он, приподняв за козырек белую охотничью шапочку.

— С приездом! — Сима улыбнулась, но на глазах у нее выступили слезы, и она повернулась спиной к мужу, покачивая при этом ребенка. Ребенок спал, голова его болталась из стороны в сторону. Хотя муж не видел его полгода, он только вяло осклабился и пошел вперед.

Через зеленое рисовое поле, напрямик по тропинке они направились к своему дому, стоявшему на окраине городка.

Сима шла молча. Надо было много рассказать

мужу, но, глядя на его недовольное лицо, она растерялась и все забыла.

Муж работал в Токио плотником. Они не виделись уже полгода, отвыкли друг от друга, и он казался ей совсем чужим, более чужим даже, чем какой-нибудь случайный прохожий. Муж и прежде был не очень разговорчив, а тут и вовсе рта на раскрывал — шел вперед так быстро, что Сима, которая семенила сзади, приходилось то и дело догонять его мелкой трусцой.

Когда они дошли до середины обветшавшего старого моста, муж вдруг замедлил шаг, пропуская ее вперед. Сима подумала, что он любитесь рекой, но тот глядел на личико ребенка.

— Сладко спит, — сказал он.

На лице мужа появилось смущенное выражение, такое же, как полгода назад, когда он уезжал из дома на заработки. Сима обрадовалась.

— Большой стал, правда?

— Да, подрос.

Но, увидев глаза мужа, пристально глядевшего на спящее личико ребенка, она вдруг похолодела от страха. Неужели и он думает что-нибудь дурное, как и бессердечные соседи? Неужели подозревает, что ребенок не похож на него?

И, упреждая мужа, Сима весело сказала:

— Все говорят, что малыш все больше становится похож на тебя.

— Наверно, — коротко бросил муж.

Придя домой, он сел, скрестив ноги, у изголовья свекрови и стал разговаривать с ней. Укачивая ребенка в дальнем углу соседней комнаты, Сима слышала, как свекровь спросила:

— А где ящик с инструментами?

— На Хоккайдо отправил, — ответил муж.

Вот как! Значит, он поедет на Хоккайдо.

— Когда едешь? — спросила свекровь.

— Завтра, дневным поездом.

У Сима сжалось сердце. Вот уж не думала! И све-

кровь, похоже, удивилась. А муж как ни в чем не бывало объяснил, что работа в Токио закончена, а на Хоккайдо есть возможность заработать. Вот он вместе с хозяином и едет туда, а по пути заглянул на денек домой – хозяин разрешил.

Ну так бы и написал в письме! А то отбил телеграмму: "Завтра приезжаю в... часов", и все. А что дальше – непонятно. Сима надеялась, что муж неделю или дней десять поживет спокойно дома, даже если и собрался куда-нибудь на заработки. А он, оказывается, только на одну ночь пожаловал и утром опять уедет в дальние края.

Сима почему-то засмеялась. Муж хмуро обвел взглядом домá¹, будто что-то искал.

– Чего тебе? – спросила Сима.

Но он, не ответив, ушел во двор. Похоже, в амбар направился. "Что это он там ищет?" – подумала Сима, нарезаая овощи для мисосиру². Муж снова заглянул в дверь. Опять обвел взглядом домá.

– Чего тебе? – спросила Сима, перестав орудовать ножом.

– Куда же оно запропастилось? – пробормотал муж себе под нос.

– Что запропастилось? Ты что ищешь?

Сима положила нож, спустилась в домá и, надев сандалии, вышла во двор. Муж со сложенными на груди руками направлялся к амбару. Сима вытерла мокрые руки о фартук и последовала за ним.

Войдя в амбар, муж сделал вид, что вглядывается в темный угол, и, когда Сима подошла к нему сзади, обернулся и молча обнял ее.

"А, вот в чем дело!" – Сима поняла наконец, что он искал, но тут острая боль пронзила ее грудь, и

¹ Домá – помещение с земляным полом, расположенное несколько ниже кухни.

² Мисосиру – суп из мисо, густой перебродившей массы из соевых бобов.

она стала вырываться из объятий. Но чем сильнее вырывалась, тем крепче руки мужа удерживали ее. Сима уже не могла больше терпеть и громко вскрикнула.

— Больно! — сказала она плачущим голосом.

Муж удивленно ослабил руки. Поглядел вниз — на ногу, что ли, наступил?

— Да не там. Вот тут болит. — Сима, тяжело дыша, показала рукой на опухшую грудь. Муж молча уставился на нее круглыми глазами.

— Пчела ужалила.

— Пчела?

— Ага. Как дитя малое. Даже совестно.

И Сима сбивчиво рассказала, как ее ужалила пчела. Муж молча выслушал. Сима думала — посмеется над этим происшествием, а он, наоборот, нахмурился и сказал:

— Ну-ка, подойди сюда.

Сима подошла к слуховому окну амбара, и муж велел ей показать грудь. Она доверчиво распахнула кимоно. За окном было еще светло, пришлось даже зажмуриться от света.

Он осторожно, будто нажимая на кнопку звонка в богатом доме, прикоснулся к соску. Сосок утонул в опухшей груди. Муж испуганно отдернул руку.

— Больно?

Сима не почувствовала боли от его прикосновения.

— Но если прижать, как ты сейчас...

Сима наконец ясно поняла причину той смутной тревоги, которая охватила ее вдруг, когда она мазлась змеиной настойкой.

”Да, ее грудь не выдержит объятий мужа”, — подумала она, и ей захотелось горько заплакать. В лучах заходящего солнца грудь казалась лиловой и была похожа на гнилую сливу. Хоть оторви и выброси за окно.

— Ладно, закройся. — Муж заморгал глазами. — Змеиной настойкой пахнет. — Он понюхал палец.

— Матушка научила, — сказала Сима, поправляя воротник кимоно.

— Меня тоже в детстве часто жалили пчелы. — Муж пошел к двери. Сима утешилась тем, что он все-таки не отвернулся от нее.

В ту ночь муж выпил со свекром немного сакэ, сидя у очага, и заснул, уткнувшись лицом в спину жены.

Только однажды он осторожно коснулся ее рукой. "А ладони у него раз от разу становятся грубее, — подумала Сима. — Наверное, оттого, что ему только шершавые доски гладить и приходится". И глаза ее за закрытыми веками увлажнились слезами.

Сима никак не могла заснуть — слишком долго, видать, сидела у соседей в бане, вот и распарилась. "Неужели ничего нельзя сделать? — спрашивала она себя. — Ведь можно же как-нибудь..." Однако в голову ей так ничего и не пришло.

Да и думать-то долго она не смогла. Тело пылало жаром, в горле пересохло. И она решила: пусть муж сам что-нибудь придумает, а я подожду.

И она стала терпеливо ждать. Но так ничего и не дождалась. "Видать, надоело ему думать, вот он и заснул у меня за спиной. Отчаялся, что ли?" — подумала Сима и тоже заснула.

Утром она пробудилась оттого, что муж тряс ее за плечо.

Сима повернулась, чтобы спросить, что ему нужно, однако он опередил ее неожиданным вопросом:

— Где пчелиное гнездо?

— Под крышей.

Было еще рано, но муж встал, натянул штаны и вышел из спальни.

Во дворе звенели цикады.

Сима проводила его рассеянным взглядом, но потом, забеспокоившись, вышла из спальни прямо в ночном кимоно.

В домá муж надел рабочую куртку свекра, натянул на руки перчатки.

— Принеси полотенце, — попросил он.

Сима сняла с гвоздя полотенце и протянула ему. Муж обвязал полотенцем лицо.

— И мешок подай из-под риса.

Сима смущенно выполняла его краткие приказания. Он молча вышел. Сима тоже молча последовала за ним.

Верхушки деревьев сверкали в тонких, как зубья гребешка, лучах утреннего солнца. Там и сям назойливо верещали цикады.

Муж поставил лестницу под карниз крыши, привычно забрался на нее, накиннул мешок на пчелиное гнездо, ловко захватил его и так же проворно слез вниз.

Сима со страхом наблюдала за ним.

— Не ужалили? — спросила она, но муж ничего не ответил.

Он принес из амбара топор и пошел к обрыву над рекой. Там положил мешок с пчелиным роем на пень и тупой стороной топора стал бить по раздувшемуся мешку. Бил старательно и равномерно, и вскоре на белой ткани расплылось лиловое пятно от раздавленных пчел и личинок. Удары топора звучали теперь не так глухо, как поначалу.

Сима стояла поодаль и молча смотрела на мужа. Ей казалось, скажи она что-нибудь, и топор тут же повернется в ее сторону. Солнце поднялось выше и осветило лицо мужа.

— Ты вспотел, — сказала Сима.

Тогда муж, словно вдруг обессилев, тяжело бросил наземь занесенный над мешком топор.

Вот и прошел этот один-единственный день после полугодовой разлуки. Не успел муж приехать — и уж снова в путь.

С трудом поспевая мелкой трусцой за мужем, быстро шагающим по тропинке среди зеленеющего рисового поля, Сима не выдержала и всхлипнула. Она чувствовала себя глубоко виноватой, но как это высказать, не знала.

— Нечего хныкать! — обернулся муж. — Опять приеду.

— Но когда это будет! Может, полгода пройдет, а может, и больше.

Подошел поезд.

— Ну я поехал, — сказал муж, подхватил под мышку чемодан и легко запрыгнул в вагон.

Только она его и видела. Из окна он не выглянул. Муж никогда не выглядывал из окна — не любил долгих проводов.

Раздался гудок. Ребенок за спиной проснулся и заплакал. Сима, покачивая ребенка, улыбнулась — а вдруг муж незаметно глядит на нее из какого-нибудь окна — и несколько шагов прошла рядом с поездом.



Револьвер I

Матушке моей скоро восемьдесят лет. Последнее время она очень страдает от невидимого глазу камня — тяжелого, как гнет в кадке с засоленными овощами, который то и дело наваливается вдруг ей на левое плечо. В остальном она еще доволь-

но крепкая для своего возраста старушка, сама вдевает нитку в тонкое ушко иголки, шьет и прибирается в доме. В хорошую погоду наливает в лохань воду и затевает стирку, а иногда, взяв нож, может очистить штуки три морских окуня. Но с тех пор, как перевалило ей за восемьдесят, стоит ей, соблазнившись хорошей погодой, сходить куда-нибудь далеко или долго повозиться в воде, как непременно одолеет эта напасть.

Только кончит работу и вздохнет с облегчением, как камень вдруг навалится на нее — не убежишь. "Ну вот, опять!" — думает она, пытается сбросить его, да не тут-то было. Нестерпимая боль расплзается по спине, захватывает грудь, сжимает ее. Пульс начинает вдруг бешено колотиться, так что всю трясет, сердце колет, страшно, и она кричит: "Опять навалился!" Но голос ее скоро хрипнет и срывается.

Хорошо еще, если моя старшая сестра, что держит музыкальную студию в соседнем городке — обучает игре на кото¹, — бывает в это время дома. Услышав крик матери, она бежит на помощь и отводит ее в постель. А когда сестры нет, совсем плохо. Мать живет вдвоем с сестрой, так что если ее нет, то кричи не кричи — никто не подойдет. Если боль прихватит в гостиную, она придвигает поближе две подушки для сидения, что окажутся под рукой, и, скорчившись, ложится на бок. Если же в прихожей или в саду, то — делать нечего — так и сидит на корточках. А неумоги станет — садится на землю. И остается ей только ждать, пока не придет кто-то опять же невидимый и не снимет с ее спины тяжкий камень. Но ждать приходится иной раз ой как долго! Так долго, что лоб покрывается испариной, пальцы ног холодеют, в глазах становится темно...

Матушка считает, что камень этот все-таки доко-

¹Кото — тринадцатиструнный музыкальный инструмент.

нает ее. Еще бы полбеды, если б он только наваливался, а то ведь в последнее время норовит схватить за сердце и стиснуть его. А в сердце своем матушка совсем не уверена.

С молодых лет она носит в нем старые раны. Она убеждена, что в сердце у нее по крайней мере шесть дырок. И когда ей говорят, что в таком случае она вряд ли смогла бы дожить до своего возраста, матушка объясняет, что раны эти маленькие, будто от удара молнии, но глубокие.

Две из них образовались, когда она родила дочерей, старшую и третью — обе оказались альбиносами. Две другие — когда дочери умерли (обе покончили с собой разными способами).

Последние две раны возникли после того, как двое ее сыновей, старший и второй, ушли тайком из дома (и до сих пор неизвестно, где они шляются).

Поэтому мать думает, что сердце ее гораздо слабее, чем у других людей, и скоро камень все-таки до него дотянется. Тогда уж спасенья не будет.

А раз так, то надо помаленьку готовиться к смерти. "Зажилась я на этом свете, нечего мешать тем, кто остается жить", — думает она про себя и потихоньку улаживает свои дела. А когда не может сама решить, как ей поступить, пишет мне письма на деревенский манер: "Не хочешь ли ты побывать у нас? Потолковать надо кое о чем. Если сможешь, приезжай".

С месяц назад сестра написала мне, что на матушку опять наваливался камень. Как всегда, захватив в подарок матушке чайную тянучку, я поехал на родину на один день. Тогда-то матушка и поведала мне об одной страшной вещи, которая хранилась у нас в доме. Всякий раз, когда она вспоминала о том, что вещь эта где-то рядом, она оглядывалась вокруг. Этой страшной вещью оказался старый револьвер.

Прежде чем заговорить о револьвере, матушка сказала:

— Извини меня за неожиданный вопрос, но не объяснишь ли ты мне, что такое модэруган¹?

Несколько дней назад сестра, вернувшись под вечер из соседнего городка, застала матушку на корточках в полутемной кухне, у мойки. Матушка сидела, закрыв лицо ладонями, как ребенок, которого оставили водить в прятках. Но камень на этот раз был, по-видимому, легче, чем всегда, так что, когда я тоже приехал в родной город, матушка уже встала с постели и, сидя у очага, жарила рыбу на вертелах. Осведомившись о том, как поживает моя семья, она и задала этот странный вопрос.

Сначала я растерялся, но, вспомнив, что у матушки была привычка то и дело спрашивать, что значит очередное иностранное слово, увиденное ею в газете или еще где-нибудь, я, как всегда, кратко объяснил ей, что модэруган — это искусно выполненная модель ружья или пистолета, нечто вроде игрушки для взрослых; и тогда она рассказала мне о нашумевшей в соседнем городке истории с ограблениями, которые совершил подросток, вооруженный игрушечным пистолетом.

Грабитель с нейлоновым чулком на голове проник в три дома. Он приставлял игрушечный пистолет к спящим людям (конечно, никто не знал, что пистолет не настоящий) и отбирал у них деньги и вещи. В четвертом доме его поймал сын хозяина, и когда с него сорвали маску, это оказался мальчишка, только что окончивший среднюю школу, а игрушечный пистолет он раздобыл тайком в Токио, когда ездил на учебную экскурсию.

Сначала я подумал было, что матушка принялась,

¹Модэруган — игрушечный пистолет (искаженное от *англ.* modelgun).

едва я вошел, рассказывать мне о грабеже, поскольку чувствовала себя очень незащищенной в доме, где живут одни женщины. Но оказалось совсем другое. Она считала: раз уж мир таков, что даже мальчишка-подросток может совершить злодеяние, размахивая игрушечным пистолетом, то надо бы, пока не случилось непоправимой беды, поскорее избавиться от *того самого*.

Я не понял, что она имела в виду, и спросил:

— А что это *то самое*?

— Да пистолет отца! — воскликнула матушка и даже съежилась от страха.

И тут я понял. Матушка говорила о револьвере, который остался после покойного отца. Конечно, это был не игрушечный, а самый настоящий шестизарядный револьвер с вращающимся барабаном, калибра 9 миллиметров, довольно тяжелый.

Но мой отец при жизни не был ни военным, ни гангстером. Он был всего лишь робким и честным провинциальным торговцем маленькой мануфактурной лавки в небольшом городке. После войны, переехав в родную деревню, он потерял свою лавку в городе и стал обыкновенным сельским жителем, который с утра до вечера колот дрова да удил рыбу в реке и только с виду сохранял городские манеры. А когда старшая сестра завела в соседнем городке студию для обучения игре на кото, он был уже просто склеротичным стариком. И вот отец, который при жизни, я думаю, ни разу и пальцем не коснулся огнестрельного оружия, оставляет после себя не что иное, как отливающий холодным блеском револьвер и вместе с ним коробку с пятьюдесятью настоящими патронами.

Этим летом мы справляли семнадцатые поминки по отцу, а револьвер и патроны все еще благополучно пребывали в нашем доме, и, как сказала матушка, шестнадцать лет мы, сами того не ведая, хранили страшную вещь, которая могла бы при любой оплошности стать орудием преступления.

Вынимая из углей воткнутые по кругу вертела с рыбой, чтобы проверить, готова ли она, матушка долго жаловалась мне, как она намучилась с этим отцовским наследством. Она вообще с неприятием относилась ко всякому насилию и поэтому, когда обнаружила револьвер, была очень недовольна. Недовольство ее все росло по мере того, как до нее доходили слухи, что кто-то там воспользовался игрушечным пистолетом для нападения, или, усовершенствовав такую вот игрушку, нанес кому-то рану, или, наконец, убил кого-то из настоящего оружия. И теперь она, как видно, просто проклинала отцовское наследство.

Матушка знала, что по закону владельцы холодного и огнестрельного оружия непременно должны сдавать его в полицию. Но, к сожалению, сколько ни уговаривала себя, никак не могла решиться туда пойти. Дело было в том, что она не раз уже бывала в полиции и натерпелась там из-за своих непутевых детей, которые один за другим совершали опрометчивые поступки. Поэтому от одной только мысли, что надо сходить в полицию, у нее начинало болеть сердце.

И не то чтобы она как-то особенно ненавидела полицию — просто ей не хотелось вновь иметь с ней дело.

Но в то же время держать дальше оружие в доме становилось для нее истинным мучением. А вдруг кто-нибудь тайком возьмет да и вынесет его из дома, и пойдет оно бродить по свету? Попадет в злодейские руки. Глядишь, будут большие неприятности. Со стороны можно и посмеяться над этими опасениями, но ведь поди знай, чего ждать. В этом мире все так непонятно. Всякое может случиться. Ладно уж, о своих сыновьях она вспоминать не станет, но случаются же разные происшествия...

Например, в дом может проникнуть грабитель. Если он окажется сообразительным, то сразу поймет,

что здесь ему делать нечего, и удалится. Если же это будет мелкий воришка, то его, наоборот, может и заинтересовать дом, где живут одни женщины. Есть такие домушники, которые специально обирают дома. А потом, не увидев ничего ценного, мелкий воришка станет с досады шарить по всему дому и найдет револьвер. Наверное, поначалу слегка удивится, но за пазуху его сунет, потому что не захочет уходить с пустыми руками.

А вдруг этим револьвером будет где-нибудь совершено преступление? Тогда что делать? Полиция начнет допытываться, откуда он взялся, и воришка в конце концов приведет следователя в их дом. Начнутся неприятности.

На чердаке живут мыши. Под верандой прячутся кошки и собаки. Если в доме и найдется какое-то безопасное место, куда не дотянется ничья рука, то туда не дотянется и рука матушки. Так что спрятать револьвер просто некуда. И пожар страшен. Перекинется огонь с соседнего дома — матушка с сестрой убегут, бросив все. Но даже если дом сгорит дотла, вдруг пожарники найдут револьвер в пепле? Опять неприятности...

Поэтому в последнее время матушка просыпается ночью с мыслью о револьвере и никак не может заснуть. Иногда она думает, что надо просто забыть о нем, пусть будет как будет, но забыть не может. Вещь эта покойного мужа, и она чувствует ответственность за нее. Не может она спокойно умереть, оставив револьвер в доме. Нельзя ли как-нибудь избавиться от него?

— Конечно, неприятно, — сказал я. — Самое лучшее — отнести его в полицию. Тогда ни волноваться не будешь, что случится злодеяние, ни чувствовать себя все время висящим на волоске. Можно также бросить пистолет с высокой кручи в реку или зарыть на поле, в самом дальнем углу. Но это все равно что выпустить на волю ослабевшую ядовитую змею.

Так как мать сидела, удрученно опустив плечи, я добавил:

— Конечно, в полицию пойду я.

— Но только не в нашу.

— Я отвезу его в Токио и сдам. Так будет лучше. Разумеется, таскать его с собою не следовало бы, но ничего не поделаешь.

Я спросил, где лежит этот злополучный револьвер, и пошел за ним в дальнюю комнату.

Револьвер и коробка с пятьюдесятью патронами, небрежно завернутые в пожелтевшую газету, как и шестнадцать лет назад, когда мы нашли их, лежали на дне маленького переносного сейфа, любимого отцом еще с того времени, когда он торговал мануфактурой. Вытащив из сейфа бумажный сверток, я вспомнил, что доставал его в тот день, когда мы делили отцовское наследство. Тогда никто из нас не знал, что находилось в свертке. "Какой тяжелый! Может, монеты золотые?" — пошутил я и развернул газету. И тут перед нашими изумленными взорами представило то, чего никто не ожидал увидеть.

Я и подумать не мог, что у отца был револьвер. Но мать сказала, что это действительно его вещь. В молодости отец ездил в Токио за товаром к оптовому торговцу и привез оттуда револьвер. "Смотри, что я раздобыл", — похвастался он. Матушка задрожала от страха — настоящее огнестрельное оружие она видела впервые.

Отец сказал, что купил его для самозащиты. В то время раз в месяц он ходил через перевал в окрестные деревни собирать деньги за товары, проданные в кредит. Ходить приходилось пешком по глухим горным дорогам, и в пути могло случиться все что угодно. К тому же обратно он возвращался с туго набитым кошельком. Так что ничего не было странного в том, что он захотел купить оружие.

Матушка сразу эту вещь невзлюбила, но смирилась с ее существованием, раз уж револьвер был

куплен для защиты. Однако что-то не было заметно, что отец им пользуется. Револьвер ни разу больше не попадался ей на глаза. "Может, убрал куда или одолжил кому-нибудь?" — думала она. Впрочем, для нее так было спокойнее, и она сперва делала вид, что забыла про оружие, а потом и впрямь забыла.

И вот после смерти отца револьвер вновь попался ей на глаза, хотя матушка считала, что его давно уже нет. Она восприняла это как коварный обман. Револьвер обошел всех и вернулся к ней в руки... Матушка с ненавистью поглядела на него, потом молча вернула снова в газету и положила на дно сейфа. "Пусть он тут лежит. Понадобится — возьмишь", — сказала она мне.

В то время мне было двадцать семь лет, мы с женой жили впроголодь в многоквартирном доме на окраине Токио, и я не был уверен, что у меня достанет душевных сил хранить столь опасное наследство. "Тем лучше! И для Будды так будет спокойнее", — сказал я. С тех пор я и не вспоминал о револьвере. И не подумал бы, что теперь он так беспокоит матушку.

Я вернулся с револьвером к очагу и стал рассматривать его, положив на колени. Потом взял в руку, и он показался мне значительно тяжелее, чем прежде, хотя этого и не могло быть. Револьвер заржавел, две строчки букв, вырезанных на его поверхности, невозможно было уже рассмотреть невооруженным глазом. В коробке лежало пятьдесят патронов. Значит, к нему никто не прикасался. Донышки патронов слегка позеленели — от масла или от пыли.

— Была только одна коробка для патронов? — спросил я у матушки.

Она сказала, что о других ничего не знает. А раз так, следовательно, отец ни разу даже из него не выстрелил, хотя и приобретал револьвер специально для себя. Ему ничего ведь не стоило пару раз стрель-

нуть для пробы, но он не выстрелил. Зачем же тогда он до самой смерти втайне хранил и револьвер, и патроны к нему? И тут мне вспомнилось, как, впервые после смерти отца увидев эту штуку, я в тот же миг понял, в чем дело.

Получив известие о том, что болезнь отца возобновилась, я приехал тогда на родину и, наблюдая, как отец потихоньку угасает день ото дня, размышлял: что же поддерживало его в жизни? Его, сына деревенского самурая, зятя городского торговца мануфактурой, имевшего двух дочерей-альбиносов, отца покончивших с собой дочерей и сбежавших из дому сыновей? И в тот миг, когда я увидел извлеченный со дна сейфа пистолет, я тут же все понял.

Этот пистолет давал ему силы жить. Имея его, он всегда мог умереть. И он смог дожить до своего возраста, потому что его поддерживала мысль, что у него есть верное средство уйти из жизни.

Я выуживал из коробки патроны и, рассматривая их, вспоминал прошлое.

— Ты что хочешь делать с ними? — спросила матушка.

— Ничего... Просто гляжу, и все.

— Смотри не брось в огонь.

И матушка строго взглянула на меня, будто говорила с восьмилетним ребенком.

Утром на станции соседнего городка я сел на поезд, идущий в Токио. Когда я проходил на платформу, то заметил, что волнуясь, как провинившийся мальчишка. Но молодой контролер с заломленной назад фуражкой не знал, что перед ним прошел человек, незаконно провозящий револьвер с пятьюдесятью патронами к нему. И он лихо щелкнул компостером, словно танцующая цыганка кастаньетами.



Пантомима I

Когда Моё в первый раз увидела туфли той женщины, она вытаращила глаза от изумления: какие огромные цветы шиповника! Не разглядев, что это были просто красные туфли, решила: шиповник расцвел. Но потом сразу же поняла, что ошиблась.

В этот северный городок Наори только дней пять тому назад пришла весна, и до цветения шиповника было еще далеко. К тому же растет шиповник на песчаных дюнах, здесь же, у края бухты, стоял завод тетраподов¹ и вся земля была покрыта асфальтом. А на асфальте шиповник не цветет.

Моё было всего девять лет, но она выросла на берегу моря и, уж конечно, знала, когда цветет шиповник.

Однако девочка сообразила, что видит не цветы шиповника, а что-то другое, вовсе не потому, что знала это. Просто она заметила, что красивые "цветы" как-то странно движутся.

Обычно цветы качают головой, когда подует ветер, а не скользят по земле, будто у них нет корней. К тому же оба цветка двигались совершенно одинаково: сначала порознь, а потом почему-то вдруг приблизились друг к другу. "Таких цветов шиповника не бывает", — подумала Моё.

Она находилась тогда на заводе в лесу тетраподов. Тетраподы — бетонные конструкции о четырех ногах. Изготавливают их очень просто. Собирают железный каркас и заливают в него бетон, когда же бетон затвердеет, каркас убирают.

Больших машин такое производство не требует — бетон привозной. Поэтому на заводской площадке не было ни здания, ни труб. Крыша не мешала бы в дождь или снег, но плохая погода стоит не круглый год, так что тетраподы можно делать и под открытым небом. К тому же грузить готовые тетраподы на большие грузовики краном гораздо удобнее без крыши.

Некоторое время тетраподы сохли на берегу под солнцем и ветром. Они стояли тесными рядами на большой площадке на берегу. Три ноги их упира-

¹Тетрапод — бетонная конструкция, применяемая для укрепления морского берега от размывания.

лись в бетон, одна торчала прямо в небо. И как бы их ни поворачивали, они всегда выглядели одинаково. Словно неуклюжие роботы.

Тетраподы были трех видов: большие, средние и маленькие. Но даже самый маленький был значительно выше Моё, а самые большие — раза в три выше. И поэтому, когда Моё играла среди них, ей казалось, что она заблудилась в чудесном сером лесу.

Моё любила одна играть в этом странном лесу. Она усаживалась на корточках где-нибудь в глубине его и рисовала камешком человечков на бетоне. Детям не разрешалось играть здесь, но на Моё смотрели сквозь пальцы, потому что на этом заводе работала ее мать.

Из школы, если не шел дождь или снег, Моё, не заходя домой, направлялась прямо к лесу тетраподов. А бывало, и убегала самовольно с занятий. Дома сидеть одной было скучно. Отец Моё был рыбаком, но, с тех пор как в ближних водах перевернулась рыба, он круглый год пропадал на заработках и приезжал домой только на Бон или на Новый год. Моё была единственным ребенком, хорошей подружки для игр поблизости не нашлось, телевизора и книг с картинками в доме не водилось, поэтому ей и не хотелось сидеть одной дома.

До поступления в школу Моё обычно бегала с толпой ребятишек на берегу, но в школе ни с кем не сдружилась. Все считали ее дурочкой и смеялись над ней.

Училась она плохо — не хотела заниматься, и тут уж, конечно, была виновата, но в том, что волосы ее были бурыми, а лицо некрасивым и фигурка коренастой, вины ее никакой не было.

Что бы она ни делала, все получалось у нее не так, как у всех. И в соревнованиях она оказывалась последней, хотя старалась изо всех сил.

Постепенно Моё отдалилась от старых друзей — кому интересно, когда над тобой потешают-

ся, — и стала играть одна. По сравнению с берегом, где за каждой лодкой прятались ребяташки, которые всегда рады были посмеяться над ней, пустынный лес тетраподов казался ей просто раем.

По детской привычке Моё, как только пригревало солнышко, ходила в одной юбке, и здесь ей было спокойнее — никто не тыкал пальцем, не смеялся, когда она сидела на земле без трусов.

Тетраподы великодушно молчали, что бы она ни делала, и Моё в последнее время стала такой же безмолвной, как они. Но слух у нее был хороший. В тот день с полудня поднялся небольшой ветер, и шум волн, омывающих пирс, усилился. И все же Моё расслышала голоса людей. Она обернулась и посмотрела в ту сторону, откуда они доносились.

И тут на бетоне между ногами тетрапода девочка увидела два красивых овальных пятна красного цвета. "Какие большие цветы шиповника!" — удивилась она тогда.

Когда Моё поняла, что это были не цветы, она не могла сразу сообразить, что же это такое. Ей и в голову не пришло, что это туфли. Такие красивые туфли ей и во сне не приходилось видеть. На сером фоне красный цвет казался таким ярким — словно живой. И, только заметив рядом с красными бутонками черные мужские ботинки, она догадалась, что видит женские туфли. За тетраподом стояли, прижавшись друг к другу, мужчина и женщина.

И все-таки, поняв это, Моё никак не могла поверить тому, что видит не цветы. "Если бы такое было нарисовано на картинке в дорогой книжке, я бы поверила. Но в жизни таких красных туфель не бывает", — думала она.

Моё уже до этого сбросила старенькие гэта и теперь тихо встала и крадучись обошла тетрапод.

Как она и думала, за ним стояли обнявшись молодой мужчина и женщина. Мужчина прикоснулся

губами к губам женщины. Однако Моё это мало интересовало. Она хотела убедиться в том, что на ногах женщины действительно туфли — удивительные, будто из какого-то другого мира. И убедившись, опять вытаращила глаза.

Какие красивые! Неужели такие прекрасные туфли бывают на белом свете?

По спине Моё пробежали мурашки, она вздрогнула. Очень хотелось подкрасться и коснуться туфель рукой. "Но тогда мужчина рассердится и обязательно меня шлепнет", — подумала она.

Моё обеими руками погладила тетрапод и тихо вернулась на прежнее место. Отсюда красивые туфли тоже были хорошо видны. Теперь она уже точно знала, что это туфли. "Видно, и вправду винтиков не хватает в голове, коль подумала сначала, что это цветы", — решила девочка.

Моё не могла оторвать взгляда от красных туфель. Женщина встала на цыпочки, хотя каблук и так были высокими. Мужчина и женщина не двигались. Это было хорошо, потому что можно было подольше полюбоваться туфлями, но Моё почему-то с досадой прищелкнула языком — ох уж эти мужчины! И чего это они так любят целоваться?

С тех пор как Моё отдалилась от товарищей и стала одна бродить по берегу, она не раз видела, как молодые мужчины, приехавшие из ближайших городков и деревень поглядеть на море, целуют своих спутниц в тени остовов разбитых кораблей, вынесенных на берег бухты, или в тени скал и сосен.

И не только молодые мужчины занимаются этим. Так же поступает и седой уже хозяин завода. Раз в неделю он приходит к ее матери с рыбой, по дешевке купленной на базаре.

Почему это женские губы кажутся им такими сладкими? Моё тоже женщина, и она точно знает, что

они вовсе не сладкие. На ее губах всегда песчинки.

Наконец мужчина и женщина медленно пошли прочь. Моё тоже пошла следом, будто привязанная невидимой нитью к туфлям женщины, и стукнулась лбом о ногу тетрапода. И тут она услышала женский плач. Женщина плакала чуть слышно, как плачут взрослые. Потом туфли исчезли меж тетраподов.

Моё почему-то вздохнула. "И этот мужчина мучает женщину, — подумала она. — Вот ее мама тоже всегда тихонько плачет, закрывшись с головой одеялом, когда хозяин завода уходит от них".

II

С красными туфлями Моё встретилась снова на другой день, когда возвращалась из школы.

Она была голодна и поэтому зашла в храм, где почитали бога кораблей. Она всегда заходила туда, когда ей хотелось есть. Чтобы не привлекать внимания людей, она не стала бить в колокольчик, а только хлопнула в ладошки и, так держа их сложенными, внимательно оглядела края ящичка для пожертвований и землю вокруг него. К счастью, и сегодня она нашла там оброненные монетки — иен сорок.

Слава богу! Она быстро схватила их, сбежала по длинной каменной лестнице и в лавке сладостей у священных ворот купила две сладкие булочки. Потом поднялась до середины лестницы и присела на каменную ступеньку. В это время внизу, у лестницы, появились вчерашние двое. Они стали подниматься вверх к храму.

На ногах женщины и сегодня были те же красные туфли. Они очень шли к белому короткому, до колен, платью, странному в этот час дня для молодой женщины. Лица этих людей Моё видела впервые, но она лишь мельком взглянула на них и, забыв о булочке, уставилась на туфли.

Женщина, опираясь на руку мужчины, прошла совсем рядом с Моё. Туфли были такими яркими, что глаз не оторвать. Они казались влажными — коснешься, и на кончиках пальцев останется красная как кровь краска. Мужчина и женщина молчали.

Когда туфли исчезли во дворе храма, Моё глубоко вздохнула. Сердце ее громко стучало. Она принялась за булочку, но голод, мучивший ее прежде, куда-то исчез.

Моё положила булочку в мешок и задумалась: кто такие эти двое? В их городке женщины красных туфель не носят. Да и здешние жители не ходят обниматься на склад тетраподов средь бела дня. "Наверно, они не отсюда", — подумала Моё. Да и по лицам она сразу поняла, что чужие.

Оба были какие-то бледные. У мужчины лицо белое, как соевый творог, а у женщины — как вареное яйцо. Мужчина казался очень усталым — издалека, видно, приехали. Под глазами у него были темные тени, и по лестнице он поднимался с трудом.

Женщина совершенно не накрашена, хотя туфли и платье у нее такие нарядные. Тонкие брови, едва заметные на лице, а губы лиловатые, блеклые — наверно, мужчина замучил ее своими поцелуями.

Моё почему-то решила, что мужчина болен, а женщина — медсестра. Доказательств тому никаких не было. Моё предположила это просто так, по виду незнакомцев. Больной приехал сюда, на море, из большого города подышать свежим воздухом, а медсестра сопровождает его по просьбе его родителей, подумала она.

Однако откуда у медсестры такие красивые туфли? И стали бы больной и медсестра обниматься вдали от людских глаз, среди тетраподов? "Если эти двое, такие нарядные на вид и такие бледные, не

богатый больной и его сиделка, то кто же они?” – растерялась Моё.

Она думала, машинально теребя пальцами булочку в мешке, и тут за ее спиной послышались шаги. Те двое спускались вниз. Одни шаги были обычные, другие позвонче: там-тарам, там-тарам. Это был стук высоких женских каблучков по каменным ступеням.

Там-тарам, там-тарам... Оба молча прошли мимо Моё. Туфли женщины блестели, будто мокрые. Моё почему-то встала.

В тот день Моё так и не побывала на площадке с тетраподами. До захода солнца она бродила за красными туфлями по берегу моря. И ей пришлось опять убедиться в том, что эти двое были не те люди, за которых она их принимала.

Они действительно бесцельно бродили по берегу без фотоаппарата и альбома для этюдов и этим были похожи на больного и его сиделку. Однако, увидев опасное место, к которому люди обычно не приближаются, например отвесную скалу, обрывающуюся прямо в море, или зубчатый мыс, о который, поднимая высокие фонтаны брызг, непрерывно разбивались волны, мужчина предпринимал опасные действия, не свойственные больному.

Он перелезал через заграждения, подползал на животе к обрыву и смотрел вниз. Или, легко прыгая с камня на камень, добирался до края мыса и возвращался весь мокрый от брызг. Разве такие больные бывают? И разве может медсестра спокойно смотреть на это?

Что эта женщина не была похожа на медсестру, Моё поняла, когда та наткнулась на труп мертвой кошки, вынесенной волной на берег. Она завопила, отскочила от кошки, закрыла лицо руками и, съезжившись, долго плакала.

Разве бывают такие слабонервные сестры? Когда Моё еще не ходила в школу, она слышала в столо-

вой, как медсестра из их больницы, уплетая лапшу, рассказывала старухе, пришедшей из деревни, какие длинные у человека кишки.

Впрочем, Моё было все равно, медсестра эта женщина или нет. Ее интересовали только туфли. Ей хотелось хотя бы прикоснуться к ним разок. Погладить их рукой. И, если можно, надеть на ноги и пройтись шагов десять. Поэтому она и бродила за ними до вечера.

Наконец туфли исчезли в дверях отеля, и солнце село.

III

На рассвете Моё видела сон, будто на ногах у нее были красные туфли. Женщина разрешила ей надеть их. Она обула туфли, но они стали вдруг стеклянными и разбились.

Моё почувствовала влагу на ступнях, пощупала рукой — на пальцах была кровь. Такая же красная, как туфли, — наверно, порезалась стеклом...

В голове ее, видно, смешались сказка про Золушку и туфли, с которых она весь день не спускала глаз. Проснувшись, Моё увидела, что она нечаянно обмочилась в постели.

В таких случаях надо самой убрать постель и уйти из дома. Моё подождала, пока совсем рассветет, тихонько убрала постель в шкаф и вышла. С тех пор как хозяин завода стал ходить к маме, Моё спала в углу кладовки, и это ей здорово помогало в таких случаях.

Погода была прекрасной, на небе ни облачка. Щурясь на утреннее солнце, только-только поднявшееся над горизонтом, Моё решила, что в школу сегодня не пойдет. В такую хорошую погоду женщина в красных туфлях, наверно, будет гулять по городу, повиснув на руке мужчины. Тогда и Моё сможет весь день любоваться красными туфлями.

Девочка решила подождать у бетонного мости-

ка перед входом в отель, пока выйдет женщина. Когда настало время идти в школу, она спряталась в лесу у храма бога кораблей, откуда был хорошо виден отель. Потом решила подойти поближе, но в это время те двое вышли из отеля и направились к морю, ей навстречу.

Моё укрылась в тени каменного забора, хотя нужды в этом не было. На кончиках туфель женщины дрожали золотые блики утреннего солнца. Взглянув на лицо женщины, она удивилась. Блеклые прежде губы ее были такими же ярко-красными, как туфли.

Моё пошла следом, держась на порядочном расстоянии. Выйдя из рыбацкого городка, те двое тесно прижались друг к другу. И шли так долго, хотя идти прижавшись трудно. Они направлялись к Чертову Плачу.

Чертов Плач был одной из достопримечательностей Наори. В скале, круто обрывававшейся к морю, образовалась глубокая расщелина, и шум волн отдавался там внизу гулким эхом. Местные жители говорили, что так плачут черти. К расщелине вела пологая скала, которую называли Чертовой Гостиной.

Мужчина и женщина свернули с тропинки и пошли к Чертовой Гостиной. Склон этот спускался к морю и хорошо просматривался. Моё, пригнувшись, поднялась на холм по другую сторону дороги. Она с детства играла здесь с другими детьми и знала, что с вершины холма Чертова Гостиная видна как на ладони.

Мужчина и женщина сели под скалой, невидимой с дороги, и некоторое время жадно глядели на море. Потом женщина медленно откинулась назад... "Ну вот! — с досадой подумала Моё. — Как только поблизости нет никого, опять за свое принимаются. И что в этом хорошего?"

Моё с мрачным видом удалилась с того места,

откуда была видна Чертова Гостиная. Мужчины народ жадный — этот тоже долго будет мучить женщину. Так что и ей надо чем-нибудь заняться.

Моё спустилась в лощинку и нарвала там полевых цветов. Затем не спеша вернулась на прежнее место.

Но что это? Тех двоих уже не было. Она внимательно оглядела всю скалу. Никого...

Лишь на краю расщелины виднелись два алых пятнышка — как зернышки мака. "Что-то тут неладно!" — подумала Моё и побежала с холма вниз. Там пересекла тропинку и спустилась к Чертовой Гостиной. Мужчины и женщины нигде не было видно.

Она поднялась к расщелине. На краю стояли красные туфли. Рядом с ними — черные мужские ботинки.

Моё некоторое время молча смотрела издали на красные туфли. Потом подползла на животе к краю расщелины и заглянула вниз. Далеко внизу, так далеко, что кружилась голова, на дне узкой расщелины с шумом пенились волны. Моё терпеливо всматривалась в воду, пока не увидела тело женщины — медленно поворачиваясь, оно уплывало в море на отбегавшей волне.

Тогда Моё приподнялась и, еще стоя на коленях, протянула руку к красным туфлям. Коснулась их указательным пальцем, убедилась, что краска не пристаёт, крепко схватила обеими руками и повернула к утренним лучам солнца. Цвет был прекрасный. Они были словно живые. Она с жадностью прижала их к груди и что есть духу помчалась по тропинке.

Не глядя по сторонам, она вернулась в городок и тут же пошла к заводу, в лес тетраподов.

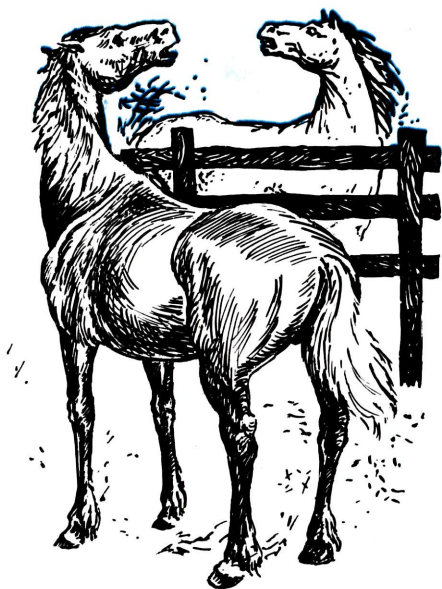
Наконец-то она в своем лесу. И тут ее никто не увидит.

Моё положила туфли на бетон, сбросила старень-

кие гэта. Туфли ей были велики. Высокие каблуки громко стучали по бетону. Моё вжала голову в плечи, огляделась.

”Нечего смеяться!” – хотелось сказать ей. Но туфли были просторны, и каблуки гулко стучали: там-тарам, там-тарам, там-тарам...

Семена мелкими шажками, Моё несколько раз прошлась по узкой дорожке в сером бетонном лесу.



На пастбище

Ученик конюха Тоё, ночующий на чердаке третьей конюшни, обнаружил утром в одном из стойл странную вещь. Она была похожа на прозрачное куриное яйцо и выглядывала из соломы как раз под кормушкой второго от входа стойла. Яйцо было прозрачным и маленьким, и, если бы Тоё не присел на

корточки, он ни за что бы его не заметил. Да и вообще никому бы в голову не пришло, что оно там притаилось. Выбросили бы с грязной подстилкой, или лошадь раздавила бы копытом.

В четыре утра Тоё, как обычно, задал корм лошадям и пошел досыпать на чердак конюшни. Его разбудило местное радио, и он собирался уже сходить позавтракать в общежитие по другую сторону лощины, когда заметил, что с кобылой во втором стойле творится что-то неладное. Это была племенная кобыла, которой только вчера сделали искусственное осеменение.

Он спустился с лестницы и, шлепая резиновыми сандалиями по полу полутемной конюшни, направился к двери. Из стойл по обеим сторонам прохода доносился хруст сена, и только во втором стойле было тихо. Не было видно и лошади. Он остановился и взгляделся в темноту. Лошадь лежала в углу, вытянув ноги. Он подумал было, что она уже съела свое сено и легла отдохнуть, но, заглянув в кормушку, увидел — там осталось еще больше половины корма.

Похоже было, что лошадь начала есть, но бросила и легла. И лежала как-то странно тихо. "Тут что-то не так", — подумал Тоё.

Когда Ёнэ, другой ученик конюха, с которым они вместе ночуют в конюшне, широко раздвинул до того слегка приоткрытую огромную деревянную дверь, солнце, поднявшееся над морем, как раз ушло от соснового бора на краю пастбища. Утренний свет хлынул в конюшню, окрасил ее в алые тона и заиграл на лезвиях кос, висевших в ряд на деревянной стене напротив дверей.

Вдали запели жаворонки.

Тоё опять вернулся ко второму стойлу. Позвал лошадь, почмокав языком. Лошадь нехотя подняла голову и встала на ноги. Вид у нее был совсем нездоровый, голова понуро опущена. Тоё похлопал ладонью по кормушке. Лошадь отвернулась, как бы говоря: "А, ты вот о чем! Не надо".

Что это с ней? Может, простудилась? Или живот расстроился?

Тоё сидел на корточках, почти касаясь задом пола и обхватив руками колени, и глядел на лошадь. Так всегда сидел старший конюх Хякуда, когда смотрел на коней. Седоватый маленький Хякуда, уже тридцать лет живущий на конезаводе, глядел вот так на лошадей, и видно было, как не спеша и обстоятельно он все обдумывал.

Посидев на корточках некоторое время, Тоё внимательно оглядел навоз, валявшийся там и сям в посветлевшем стойле, и тут заметил в соломе что-то непонятное. Сначала он подумал, что это большой пузырь, и подул на него. Пузырь не лопнул и не колыхнулся. Тогда он пригляделся к нему поближе: оболочка у пузыря была плотной, и похож он был на яйцо. Внутри просвечивало что-то напоминавшее желток.

”Голубиное яйцо!” — решил Тоё. Но почему же оно просвечивает? В своей деревне Горячие Ключи он видел голубиные яйца, но таких прозрачных не встречал ни разу. ”Странная находка”, — подумал он.

Тоё осторожно, будто зачерпывая рыбку из воды, взял ладонями голубиное яйцо из соломы и понес из конюшни, чтобы получше рассмотреть на свету.

На ощупь яйцо оказалось мягким, прозрачная пленка туго натянута. Он поскреб ее слегка — яйцо дрогнуло, и солнечный блик на том месте, где он поскреб, померк.

— Ой! Да там лошадь! — от удивления Тоё чуть было не уронил яйцо.

Внутри него он различил маленькую лошадку.

Тоё взглянул на солнце, потом поморгал глазами и подумал, не спросонья ли ему это показалось.

Взглянул снова на яйцо — нет, там точно была лошадь.

Значит, это лошадиное яйцо? Да не может этого

быть! Лошадь не птица, не змея, яиц не несет.

”А не лошадиный ли это глаз?” — подумал он. В лошадиных глазах отражается все, что вокруг нас. Если приглядеться внимательно, увидишь свое отражение. Какой-нибудь жеребенок потерял один глаз и теперь ходит где-то поблизости, ищет его, сам отражаясь в этом глазу.

Тоё быстро огляделся, и, конечно, зря. Какая лошадь могла в это время бродить за пределами конюшен?

Сердце Тоё гулко стучало. Что же это такое? Непонятное и странное. Он пошел от конюшни, забыв о больной лошади. Не то шел, не то бежал по краю лощины, держа в ладони странное яйцо и другой рукой поддерживая запястье, будто ложку с яйцом на шуточных соревнованиях по бегу.

Жаворонки в небе так и заливались.

”Ну и опростоволосился я!” — думал Хякуда, стоя в загоне перед второй конюшней и вспоминая о странном яйце, которое принес ему Тоё.

В то утро Хякуда сидел на кухне общежития и пил чай с молодыми конюхами. Тоё вбежал запыхавшись, будто за ним гналась змея, и выпалил:

— Смотрите, что я нашел!

— Что там?

— Яйцо с лошастью внутри.

”Не проспался парень”, — подумал Хякуда.

— Где оно там, неси сюда.

Тоё, согнувшись и отставив зад, поднес яйцо. На потной ладони действительно дрожал маленький прозрачный шарик.

— Что это? Не игрушка ли виниловая?

Как-то с городского праздника Хякуда привез своим ребятишкам игрушечный виниловый шарик, наполненный водой. К шарiku была прикреплена прочная резинка, и им можно было играть, как мячиком. Дети сразу же сломали игрушку. И вот

теперь Хякуда подумал, что это такая же виниловая игрушка, только опавшая.

— Да нет, загляните внутрь, — сказал Тоё с серьезным видом. Хякуда поглядел и удивился: внутри яйца и вправду была видна лошадь.

Конечно, без гривы, без хвоста и копыт. Там был синеватый сгусток, похожий на протухший желток. Но, приглядевшись хорошенько, в этом сгустке можно было различить целую сеть очень мелких бурых ниточек, которые переплетались, сходились пучками, накладывались друг на друга, составляя определенный чертеж, и этот чертеж складывался в рисунок лошади.

Голова, шея, туловище, четыре ноги... На голове глаза, словно точки от игольного укола... Будто сделанный острым карандашом рисунок лошади.

— И вправду лошадь! — удивленно воскликнул Хякуда и вышел из кухни, взяв за руку Тоё. Конюхи, беззаботно распивавшие чай, сидя вокруг заляпанного соевым соусом стола, толпой вывалились за ними.

— Смотрите! Лошадь! — Хякуда поднял ладонь Тоё. Загорелые бородатые лица окружили их.

— Ну да, лошадь... В самом деле... Как на рентгене, — удивлялись конюхи.

— Где нашел? — завистливо спросил молодой голос. Тоё только и ждал этого вопроса. Он торопливо стал рассказывать, как все случилось, а Хякуда, глядя на возбужденное лицо Тоё, понял вдруг, что это просто выкидыш. И бесчисленные ниточки, складывающиеся в рисунок лошади, есть не что иное, как кровеносные сосуды, пронизывающие тело зародыша.

— Понял! Это жеребенок. Вот смотрите...

И как это он, старый уже человек, мог так оплошать! Хотел показать зубочисткой, где у зародыша сердце, а шарик лопнул. Острая зубочистка нечаянно проткнула прозрачную оболочку плода.

На ладони Тоё расплылось мокрое коричневое пятно. Никакой лошади уже не было. Хякуда поспешно пошевелил концом зубочистки мокрое пятно на ладони, но на конце зубочистки лишь безжизненно повис сморщенный шарик, точно мокрая туалетная бумажка, свесившаяся с металлического сачка, каким ловят золотых рыбок в уличных ларьках.

”Ну и оплошал же я!” — с досадой подумал Хякуда. Но досадовал он не на то, что неосторожно уничтожил зародыш, а на то, что сделал искусственное осеменение кобыле, которая уже понесла.

Прошлой весной кобыла эта осталась яловой, и сорок три дня назад ее опять спарили с жеребцом, но матка так и не сократилась, как это бывает в случае зачатия. Хякуда и другие опытные конюхи посоветовались и решили осеменить ее искусственно. Вчера это и сделали.

Да, выходит, зря. Лошадь была жеребой от второй случки. Она и выкинула с испугу, когда над ней проделали эту операцию.

”Вот уж непростительно! — думал Хякуда. — Допустить такую ошибку после тридцати лет работы с лошадьми. Есть отчего впасть в отчаяние. Выходит, тридцать лет жизни пропали зря”.

Пятнадцать лет он ушел из дому, чтобы стать наездником. Проработал год на черной работе на ипподроме в Токио и решил, что лучше выращивать хороших лошадей, чем служить жокеем. С тем и пришел на этот конезавод тридцать лет назад. Конечно, не так уж трудно стать конюхом за такой срок, но Хякуда все давалось с трудом, и, решив преуспеть хотя бы в чем-то малом, только уже так, чтобы знать свое дело досконально, он упорно трудился все эти годы и сделался даже старшим конюхом. Теперь он мог с гордостью сказать, что знает о лошадях все.

И вот оказывается, что он до сих пор допускает грубые ошибки. Да еще, увидев сорокатрехдневный

зародыш, удивляется: "Смотри-ка!" Так чем же он занимался все эти тридцать лет? Похоже, зря он их прожил. Видно, ходить ему в подмастерьях до конца своих дней. Есть отчего отчаяться. Прожил впустую, нажил лишь усталость.

Но долго предаваться мрачным мыслям ему не пришлось. Из соснового бора неподалеку от конюшен послышался топот копыт. Гудела земля. Это возвращались с верхнего пастбища племенные жеребцы. Пробежали для разминки три километра и мчатся теперь домой, все в поту.

От этого гула тело Хякуда наливается силой. Он думает только о работе, все лишнее улетучивается. Как-никак тридцать лет отдано этому делу! Пусть не достигнет он вершин, но надо идти, сколько сможешь. Работа есть работа! — так подбадривает себя Хякуда.

— Ну, подходите! Кто там первый?

Голос его отдается эхом в конюшнях, выстроившихся рядами. Сначала выскакивают и разбегаются врассыпную жеребята. Затем появляются кобылы. Конюхи ведут их к загону, где находится Хякуда и жеребец.

Правой рукой Хякуда держит за поводья жеребца, в левой руке у него контрольный лист кобылы — все данные о ней. В левом углу имени родителей, ее имя и имя жеребца. Поперек записан возраст, наверху — дни, под ними, словно в гороскопе, помечены четырьмя значками физиологические состояния кобылы по дням.

Кружок обозначает возбужденное состояние, треугольник — спокойное. Крестик свидетельствует о том, что кобыле не нашлось пары, двойной кружок обозначает случку.

В течение года кобылы бывают возбуждены с марта по июль. Конечно, не все кобылы одновременно находятся в таком состоянии. По контрольному листу можно сразу определить, какая кобыла и

который день возбуждена. Хякуда проводит случку на третий или четвертый день.

Когда кобылы собираются у загона, жеребец начинает ржать, бить копытами, бросается грудью на изгородь. В том месте, где изгородь ближе всего подходит к конюшням, она укреплена, как крепостная стена, бревнами, положенными поперек, а сверху покрыта толстыми соломенными циновками, чтобы жеребец не повредил себе грудь о бревна.

— Первый номер, Асакири! — раздается возглас.

— Ну, подходи! — отвечает Хякуда.

Свидание начинается.

Жеребец упирается грудью в изгородь, покрытую циновками, и выпячивает шею как можно дальше. Если кобыла не возбуждена, она останавливается в двух метрах от морды жеребца и отворачивается, будто говорит: даже глядеть и то противно. Но бывает, что ей просто не нравится жеребец, — тогда ее успокаивают и подводят поближе. Поворачивают корпусом, потом хвостом. Если кобыла действительно не возбуждена, она вздрагивает и взбрыкивает задними ногами, когда дыхание жеребца обдаёт ее зад. Жеребец сконфуженно отбегает.

В контрольном листе появляется треугольник.

— Спасибо. Следующая! — говорит Хякуда.

Следующая кобыла сначала очень спокойна. Может, оттого, что она захотела стать матерью и сердце ее смягчилось? Глаза у нее тихие, поступь мягка. Видимо, жеребец это понимает. Он терпеливо ждет, вытянув шею.

Ноздри их приближаются друг к другу. И, почти коснувшись, застывают. Воздух становится вдруг точно густым. Звуки на земле затихают, только жаворонки продолжают громко петь. Время на пастбище как бы останавливается.

Жеребец и кобыла некоторое время стоят неподвижно. Потом длинные морды их перекрещиваются, щека касается щеки, и они опять зами-

рают. Хякуда внимательно следит за поведением лошадей из-за изгороди.

Глаза кобылы увлажняются. Жеребец глубоко вздыхает.

— Понятно, — говорит Хякуда.

Так начинается утро на конезаводе. Кобылу поворачивают. Морда жеребца скользит по шее, гладит бок, приближается к хвосту, ноздри раздуваются...

Жеребенок, смиренно жавшийся к боку матери, испуганно отскакивает и кружит поодаль.

В контрольном листке появляется двойной кружок.

— Молодец! Спасибо, — говорит Хякуда.

Одна за другой меняются лошади. Встречи продолжают.

Солнце печет все сильнее. В контрольный лист вписываются кружки, треугольники, двойные кружки. Белизна листа слепит глаза, они начинают болеть. Устает рука, и половина знаков заползает в соседние столбцы. Хякуда досадует, плюет на средний палец и потирает его. Лоб у него покрывается потом.

Случается, что пройдут две кобылы подряд без всяких признаков возбуждения, бывает и наоборот. А то идут и те и другие вперемежку. По шестнадцать кобыл встречаются с жеребцом. Казалось бы, тяжелая для него работа, однако он обходителен с каждой кобылой и нисколько не устает. Когда его отвергают, он сердится и бьет передними ногами по бревнам. Когда привечают — вытягивает шею и, откинувшись назад, выпячивает верхнюю губу. Тогда видны его зубы и десны. Он смеется. Смеется беззвучно, всей мордой.

Чему только радуется? Ведь он всего лишь помощник в работе для Хякуда. Когда работа закончится — улыбайся не улыбайся, снова уведут в конюшню. И так каждый день. А он даже не осознает свою

шутовскую роль. Утром опять, весь блестящий, гордо выйдет в загон и будет возмущаться, смеяться и молчать, управляемый поводьями Хякуда. А потом, удовлетворенный законченной работой, блестя от пота, вернется в конюшню. И так постоянно, до конца его дней...

Заполнив лист, Хякуда собирает всех кобыл, помеченных двойным кружком, и приступает к следующей процедуре. Подвязывает им хвосты у основания сантиметров на тридцать белым бинтом, чтобы не путалась шерсть, и, намочив полотенце в дезинфицирующем растворе, моет им зад под хвостами. Затем выжимает полотенце, тщательно вытирает.

Кобылы стоят, закрыв глаза, спокойно позволяя ему мыть их. Вообще-то они редко ропщут — даже тогда, когда им надевают на задние ноги толстые соломенные сандалии. Лишь некоторые возражают, как бы заявляя: можно и без них, я не собираюсь лягать своего партнера. Однако в конце концов в сандалии обувают всех кобыл. А на тех, которые еще не привыкли к случке, надевают еще и искусно сделанную сбрую, которая обхватывает шею и зад и не позволяет им высоко подпрыгивать на четырех ногах. Некоторым кобылам обматывают шею брезентом, потому что иные ретивые жеребцы норовят схватить зубами за гриву. А бывают жеребцы и покладистые, которых достаточно только погладить, и они уже не бунтуют. Всякие есть лошади...

Кобылу выводят на поводу на лужок перед конюшней. Если за ней увяжется жеребенок, его догонит и удержит старый конюх-кореец по имени Тян. Он любит эту работу и делает ее лучше всех. Ловит жеребят он просто мастерски.левой рукой хватает за шею, правой под хвост и крепко прижимает жеребенка к груди. Так что капризный малыш не может двинуть ни одной ногой.

Слышится топот копыт племенного жеребца, выпущенного из конюшни. Он возбужденно ржет.

Мать жеребенка отвечает ему. Жеребенок испуганно прядет ушами. Ладонями и грудью Тянь чувствует, как дрожит его кожа. Тянь не интересуется чужой работой. Он старается, чтобы и жеребенок не видел взволнованной матери. Когда жеребенок пытается обернуться, правой рукой Тянь безжалостно дергает его за хвост.

— Говорят тебе, стой! Не бойся! Погляди, вон море. Видишь?

Лощина с пологими склонами, покрытыми травой, ведет прямо к морю, которое издали похоже на широко раскрытый веер. Море уже обрело свой цвет и серебрится в лучах солнца. Слышен далекий шум волн.

Тянь вспоминает, как он скакал верхом на матери этого жеребенка по широкому берегу и волны разбивались о прибрежный песок. Было это несколько лет тому назад, а кажется, будто вчера. Скоро и этот жеребенок будет скакать по берегу, а потом уедет в конюшню в Токио и будет там бегать, пока молод, на ипподроме. Затем вернется на конезавод, чтобы продолжать род, и узнает тогда, что означает гул земли и почему волнуется его мать.

Вдруг жаркий ветер горячо обдаёт спину Тяня. По спине жеребенка пробегает дрожь. В нос ударяет густой запах травы.

— Ну как, готов? — спрашивает Тоё с верхушки копны, стоящей у входа в конюшню.

— Готов, — отвечает Фуми.

— И я, — говорит Ая. — А ты?

— Я тоже.

Это у них такое послеобеденное приветствие.

— Ну поезжайте!

— Да, поехали.

Маленький грузовик трясется по дороге, проваливаясь в глубокую колею. В кузове пять мешков с удобрениями. На мешках сидят Фуми и Ая. Оба

одеты в одинаковые рабочие куртки и шаровары из касури¹. Головы завязаны платками, лица полотенцами. На руках рабочие рукавицы, на ногах сапоги. Видны лишь глаза, и только по голосу можно узнать, кто из них Ая, а кто Фуми.

Они везут удобрения на пастбище. Пастбища ведь тоже удобряют. Приехав, открывают задний борт грузовика и начинают руками разбрасывать удобрение прямо на ходу. Грузовик ездит как попало по широкому пастбищу: кругами, зигзагами, вперед и назад от изгороди до изгороди, а они, точно заведенные, бросают, бросают... Кажется, не так уж и трудно, но на самом деле однообразная работа эта очень утомительна. Болит поясница, горят руки в рабочих рукавицах, на лице будто тяжелая свинцовая маска...

Проводив грузовик, Тоё дремлет, забравшись на копну.

Часов около трех пополудни, пока кони, выпущенные на пастбище, не вернутся обратно, — самый длинный перерыв в работе на конезаводе, не считая ночи. Двадцать конюхов проводят его по-разному. Семейные идут по домам, холостые собираются в общежитии, играют в сёги², смотрят телевизор, болтают.

Тоё, сидя на копне или у изгороди пастбища, то дремлет, то, открыв глаза, сонно глядит перед собой. Так ему спокойно. Ему нравится быть одному, он с детства привык к одиночеству, может даже чересчур.

Просыпается Тоё от настойчивого стука — будто чем-то тяжелым бьют рядом по земле. Перед глазами маячит худая лошадиная спина каштанового цвета. "Что это? Никак Старуха?" — думает он. Кто, кроме нее, может бродить в это время у конюшен?

¹Касури — ткань с узором в редкий горошек.

²Сёги — японские шахматы.

Тоё не знает настоящего имени этой кобылы. В свое время она брала призы на ипподромах в Ито и Кавасаки. Значит, имя-то у нее есть. Но теперь никто уж не зовет ее тем именем. Все кличут Старухой, хотя ей всего восемь лет — не тот возраст, когда у лошадей наступает старость. От былой прыти не осталось и следа. Она ковыляет, как дряхлая кляча, оттого и прозвали ее Старуха.

Ковыляет неспроста. У нее не в порядке задние ноги. Левое копыто воспалено и никуда не годится. А на правой бабке опухоль величиной с футбольный мяч. Образовалась она после разрыва сухожилия. Так что Старуха, считай, ходит только на двух. Нога с больным копытом у нее вроде костыля, на который она опирается, а вторая, распухшая, — как волочащийся сзади пень.

В таком виде до пастбища вместе со всеми не дойдешь, вот она и бродила одна вокруг конюшен. А тут, на свое счастье, обнаружила Тоё и стала настойчиво бить передними копытами в землю у копны, требуя, чтобы он ей дал попить.

”Ну вот, опять!” — хмурит брови Тоё. Как-то он пожалел надоевшую всем Старуху, и теперь она от него не отстает. Найдет где-нибудь, когда он сидит в одиночестве, и начинает клянчить. Надоела! Особой любви у Тоё к Старухе не было. Она напоминала ему покойную мать. А мать Тоё не любил, хотя ненависти к ней не испытывал. Но вспоминать о ней ему явно не хотелось.

Старуха его не тревожила. Так же, как мать, которую он не любил. Он жалел Старуху, как и мать, и поневоле заботился о ней. Не хотел, а заботился.

Ворча под нос и прищелкивая с досады языком, Тоё отвел все-таки Старуху к крану у конюшни и налил ей ведро воды. Кобыла жадно пила, а он стоял рядом, смотрел на ее костлявое, невзрачное тулово со светлыми плешинами, похожими на тяж морского

гребешка, образовавшимися от постоянного лежания, и с жалостью думал о ее печальной судьбе.

Сухожилие на правой задней ноге ей перебили однажды копытом на скачках, когда она уже была у самого финиша. Старуха поневоле лишилась лавров победителя. Однако если бы дело ограничилось только этим, то ее — раненную на "поле битвы" — отослали бы как племенную кобылу рожать жеребят, и она бы не влачила теперь такую жалкую жизнь. Но случилось еще одно несчастье. Бездарный зоотехник, служивший в токийской конюшне, решил, что возвращать на конезавод тощую лошадь как-то неудобно, и стал, пока заживала рана, усиленно ее раскармливать. Кобыла растолстела, а так как не могла наступать на больную ногу, то опиралась все время на левую. Вскоре копыто левой задней ноги воспалилось, и нога оказалась загублена. Лошадь вернулась на родину о двух ногах, опираясь на третью, как на костыль, а четвертую волоча, точно пень.

Но она была племенной кобылой и должна была рожать жеребят, чтобы оправдать свое существование. Правда, на конезаводе почти все решили, что такая слабая кобыла вряд ли выдержит вес мощного жеребца, а если и забеременеет, то не сможет выносить жеребенка. Один лишь Хякуда считал, что обязан сохранить выдающиеся качества этой кобылы в потомстве, раз уж она была прислана к нему. И хотя это было жестоко по отношению к кобыле, он все же решил попробовать случить ее в присутствии хозяина, а в случае неудачи подумать о другом способе получения потомства.

Вопреки всем ожиданиям, Старуха выдержала вес жеребца. И откуда только взялась сила в ее жалком теле, качавшемся чуть ли не от прикосновения руки конюха!

— Настоящая матка! — коротко бросил хозяин конезавода и удалился.

На другой год Старуха родила жеребенка. Теперь

ему было уже два года и жил он вместе с другими двухлетками во второй конюшне. По статям он немного недотягивал до племенного жеребенка, но главное были ноги. Возместит ли резвость недостаток силы? Ну что ж, это покажут скачки, которые уже не за горами. От их результата будет зависеть и дальнейшая жизнь Старухи. Может быть, она останется на этом конезаводе и снова станет матерью. А может, волоча за собой, как пень, больную ногу, будет переходить из конюшни в конюшню.

Вряд ли ведавшая о том, что приближается день, который решит ее судьбу, Старуха напилась воды, перевернула непослушными ногами пустое ведро и, покачивая головой, пошлелась на луг.

Тоё вернулся к копне. Но теперь он уже не полез на ее верхушку. Свободного времени оставалось мало, да и сон как рукой сняло. А так хотелось поспать! Все из-за этой Старухи. Из-за нее он и вспомнил свою мать.

Тоё долго не мог понять, почему, когда он видел Старуху, ему сразу же вспоминалась мать. Мать не была худой. Правда, когда она перестала спать по ночам, лицо ее заметно осунулось. Но сама она оставалась в теле. И хромой она не была.

Только недавно он догадался, в чем было сходство. Старуха, волоча опухшую ногу, всегда была такой печальной. И он стал замечать, что, глядя на печальную лошадь, невольно припоминал лицо матери... Ее лицо, когда она, возвращаясь на рассвете, как ни в чем не бывало здоровалась с хозяином дома, торговцем соевым творогом, проходила во флигель и тут, устало присев, рассеянно глядела на стену.

Да, в чем-то они походят друг на друга, думал Тоё. Мать, как и Старуха, тащила за собой непосильную тяжесть, какой-то невидимый глазу "пень". Но что же это был за "пень"?

Мать была гейшей в деревне Горячие Ключи, в которой прежде останавливалось много людей, при-

езжавших подлечь на источниках. Там она выходила к гостям под именем Момоё, а в молодости якобы выступала под именем Корин в веселом квартале большого города. Он слышал, как она утверждала, что была там в большой цене. Тоё не знал, правда это или ложь, одно только было верно: мать действительно сбилась с пути из-за мужчин.

Ему довелось слышать, как она сама говорила об этом. К его удивлению, однажды в их дом пришел настоятель из храма Рюгэндзи и, задвинув сёдзи, долго беседовал с матерью. Тоё в это время поил водой с красным перцем ослабевшего петуха возле курятника. Мать плачущим голосом спросила: "А почему женщина не может согрешить? Почему, святой отец?"

Тоё не знал, как звали его отца, и никогда его не видел. Да и не хотел ни видеть, ни знать. Молил бога только об одном: чтобы отец не оказался одним из тех знакомых ему мужчин, которые то и дело навевались к его матери. Пусть бы он был заезжим гостем, что не дают матери заснуть до утра в гостинице у горячего источника. А если бы это был один из тех, что бывает в их доме, он бы его люто возненавидел.

С позапрошлой весны мать плохо спала по ночам. Кто-то из мужчин, бывавших в их доме, научил ее принимать снотворное, и она стала принимать его ежедневно. Летом прошлого года глотала его вперемешку с сакэ уже горстями. От него и погибла.

Умерла мать осенним утром в гостиничном бассейне. Она плавала там мертвая, лицом вверх, раскинув руки и ноги. Живот ее вздулся, как барабан. Тоё показалось, что к телу ее там и тут прилипли лепестки гортензии. Но он вспомнил, что гортензии давно отцвели, и понял, что это были синяки.

Накануне ночью она, как обычно, приняла снотворное, но заснуть не смогла и посреди ночи одна отправилась в бассейн. Там в воде снотворное вдруг

подействовало, она потеряла сознание и утонула. Тоё узнал это от полицейского и гостя, с которым она была той ночью.

Тело матери сожгли под открытым небом, а урну с пеплом захоронили в углу храмового двора.

Когда прозвучал сигнал местного радио, возвещавший об окончании отдыха, Ая в кузове мчавшегося грузовика постучал по спине Фуми.

— Глянь-ка! Люди-рекламы опять пожаловали.

Фуми посмотрел в ту сторону, куда указал палец рабочей рукавицы, испачканный пыльным удобрением. От моря по дороге, ведущей через пастбище к конюшням, покачиваясь, поднимались красные и голубые зонтики. Шли три женщины и мужчина. Зонтики и яркие платья плыли над зеленью пастбища.

Это были не люди-рекламы, а просто туристы из города, иногда забредавшие на пастбище, Ая и Фуми прозвали их "ходячей рекламой". Им не нравились слишком яркие цвета их одежды.

— Ишь, зонтами прикрылись...

На заводе не то чтобы от солнца — от дождя и то зонтами не прикрывались.

— Смотреть противно!

Фуми набрал полную пригоршню сухого удобрения и швырнул в их сторону.

— Да, противно!

Ая тоже зачерпнул пригоршню и швырнул в городских гостей.

Потом они снова принялись за свою нудную работу, которой были заняты уже часа два.

Между тем четверо поравнялись с пастухами, шедшими на пастбище за лошадьми.

— А, здравствуйте! На работу? — развязно поздоровался с ними мужчина, приподняв большим пальцем поля соломенной шляпы. Женщины засмеялись, кланяясь.

Оказалось, женщины были из городского кабаре.

В прошлом месяце на праздник Батоканнон — покровительницы лошадей — конюхи, проведя обряд очищения у часовни за конюшнями, натянули красно-белый занавес на лугу рядом с общежитием и устроили гулянку. Тогда им прислуживали двадцать женщин из кабаре "Золотая повозка". И эти три тоже были среди них. А мужчина был управляющим кабаре.

Он спросил у одного из конюхов, как пройти к Хякуда, и повел спутниц к третьей конюшне. Конюхи удивленно переглянулись. Кто скривил губы, кто прищелкнул языком, кто фыркнул. Тогда, во время гулянки, напившись, они пообещали женщинам навестить их, но до сих пор не выполнили свое обещание — теперь вот придется расплачиваться.

— Зачем это они пришли? — спросил один.

— А разве не к тебе? — пошутил другой.

— По счету пришли получить, — предположил третий.

В таком случае им нужно было бы, наверно, идти прямо к дому хозяина конезавода, однако они, похоже, направились к Хякуда. Конюхи бросили думать о чужих делах и разбежались по пастбищу.

А у третьей конюшни как раз шла подготовка к вечерней работе, и Хякуда обтирал пот с племенного жеребца, вернувшегося со скакового круга.

— Спасибо за ваше участие в празднике, — сказал он.

— Мы приехали отдохнуть на берегу и зашли вот к вам ненадолго. Я вижу, вы заняты?

— Да, работаем с утра до вечера. И так весь июль, — ответил Хякуда, похлопывая жеребца ладонью по спине. Под гладкой, блестящей кожей коня перекачивались тугие, как канаты, мышцы.

— Большая лошадь! — сказала смуглая разбитная женщина.

— Ага! — поддакнула другая, похожая на девочку, с пухлыми щеками. — Первый раз вижу такую большую!

Красивая стройная женщина молча глядела на морду жеребца. Хякуда тоже захотелось вставить слово.

— Эту лошадь зовут Рассвет. Племенной жеребец английских кровей, восьми лет. Три раза выигрывал на здешних скачках... — начал объяснять он, будто перед ним были учащиеся сельскохозяйственной школы.

— Сколько один раз стоит? — спросил управляющий кабаре. На гулянке они вместе с Хякуда выпили по чашечке сакэ, и теперь, когда речь зашла о работе конюха, он опять увлекся разговором. Правда, при первом знакомстве он уже спрашивал у Хякуда об этом и все знал, но тут нарочно опять поинтересовался, чтобы удивить женщин.

— Гм! По нынешним временам сто семьдесят тысяч иен.

Женщины вытаращили глаза.

— Дорого, не правда ли? — продолжал провоцировать конюха управляющий кабаре.

— Одна лошадь стоит сто семьдесят тысяч? — удивилась маленькая, похожая на подростка.

— Да что вы! Этот жеребец стоит двадцать миллионов иен.

— А сто семьдесят тысяч?

— Один раз...

— Что один раз?

Управляющий с досадой шелкнул языком и пробормотал про себя: "Вот непонятливая!"

Один из конюхов сказал, что кобыла готова. Хякуда велел вывести ее.

— Куда?

Хякуда оглядел луг из-под ладони.

— Вон туда.

Женщины о чем-то тихо перемолвились и пошли на луг вдоль забора.

Управляющий, оставшись один, машинально постукивал по доньшку соломенной шляпы.

— Извините, что мы так неожиданно к вам нагрянули. Захотелось, знаете, немного подстегнуть себя. Вялость одолела.

Хякуда не понял, что это он там говорит такое. Но к замечаниям городских жителей он относился снисходительно. Сам-то он был не мастак разговаривать. Спросят — ответит. На празднике этот управляющий показался ему деловым парнем, а тут говорит как-то непонятно: подстегнуть чего-то...

— Пожалуйста, смотрите, — сказал он. — Это моя работа. Хотите взглянуть, как я работаю, смотрите с легкой душой. Все по воле божьей делается...

И Хякуда улыбнулся спокойно. Он всегда был спокоен, какие бы высокие гости ни стояли рядом.

Лучи заходящего солнца залили весь луг. Хякуда вел Рассвета на поводу, и чем дальше по луку, тем сильнее пахли пряные травы.

Кобыла стояла неподвижно, словно изваяние, добродушно опустив голову. Три женщины прислонились к изгороди метрах в двадцати.

”Женщины всегда занимают места первыми”, — подумал Хякуда.

— Идите вон туда. Здесь опасно, — сказал он, обернувшись к управляющему кабаре, собиравшемуся, как видно, всюду следовать за ним. Управляющий замедлил шаг, огорченно улыбнулся и пошел к женщинам. Те о чем-то тихо разговаривали, постукивая по траве кончиками туфель.

— Эй!

Молчание.

— Что вы там делаете?

— У нас важный разговор, — сказала, не оборачиваясь, женщина, похожая на девочку.

— Повернитесь сюда.

Молчание.

— Начинается!

— Что? — спросила смуглая.

— Потом пожалеете, что не видели.

- Не беспокойтесь.
- Пожалеете. Я-то знаю.

Маленькая женщина недоуменно втянула голову в плечи.

— И ведь хочется повернуться, а не смеее.

— Да что там? — Смуглая женщина резко повернулась и замерла.

Жеребец встал на дыбы, подняв передние ноги и роя задними землю. Хякуда с поводьями в руках пригнулся прямо под его копытами. Казалось, жеребец вот-вот вздернет его вверх и отбросит прочь.

— Ой! Смотрите! — с ужасом вскрикнула одна гостья.

Тем временем Хякуда, мало заботясь о себе, изо всех сил сдерживал коня, опасаясь, что тот, разъярившись, опрокинется назад. Если по невниманию ослабить поводья, строптивый жеребец может сесть на зад, завалиться набок и сильно удариться головой о землю. Обычно лошадь тут же испускает дух.

За тридцать лет работы на конезаводе Хякуда только раз допустил такую оплошность. Это самый ответственный момент в его работе.

Рассвет между тем в ярости не то ржал, не то храпел. Из пасти его вылетала пена. Его возбуждал вид кобылы.

— Ну давай, давай! — тянул его за поводья Хякуда...

Все длилось каких-нибудь тридцать секунд. Всего лишь миг...

Лошадей развели. Они тихо ушли в конюшни. Вдали синело море. Разбитная женщина стояла прямая, будто палку проглотила, широко открытые глаза ее сверкали на бледном лице. Стройная красавица прислонилась к изгороди с таким видом, будто ничего не случилось. Маленькая сидела на корточках, обхватив колени руками. Управляющий кабаре сложил руки на груди — ему хотелось понаблюдать за лицами женщин, и только теперь он с сожалением опом-

нился. Приминяя траву, он пошел прочь, затем, обернувшись, крикнул:

— Эй!

Маленькая женщина укоризненно поглядела на него.

— Все уже.

Разбитная состроила кислую мину.

— Пора возвращаться, а то опоздаем в кабаре.

— Идите. Мы догоним. — Маленькая, видно, была не на шутку рассержена.

Красавица, слегка улыбаясь, медленно пошла за управляющим.

Две другие — одна, сидя на корточках, другая, прислонившись к изгороди, — некоторое время молчали. Глядели на траву, где уже никого не было.

Но что они вообще там видели? Видели, как в солнечном сиянии глыбы мяса шумно сталкивались друг с другом, содрогались, затихали. Будто обдал их просто жаркий черный вихрь, хлестнул им прямо в лицо, перехватил дыхание. Они не заметили, что он пронзил их насквозь. Зачем они уступили ему? — думают они, растерянно замечая, как померкли их лирические воспоминания о прошлом.

Женщина, похожая на девочку, все еще сидела на корточках, не в силах подняться. Она рассеянно вспоминала прошлую ночь, которая казалась ей теперь неясным отпечатком рентгеновского снимка. Вспоминала свое неловкое заигрывание и скупые ласки мужчины — для чего все это? Ей стало жалко беспечной хрупкости своего тела.

— Как хочется в море поплескаться! — сказала она тихо. Да, попрыгать бы по-детски невинно в воде, поднимая тучу брызг...

— И мне, — отозвалась разбитная женщина с бледным лицом.

Но пора возвращаться. Возвращаться к своей жизни. А море как-нибудь потом. Когда снова за-

хочется прийти к нему. Только когда это будет, кто знает...

Они встают, и их длинные тени падают на траву.

После ужина приехал торговец мануфактурой. Как всегда, примчался на мотоцикле и на этот раз привез ткань на юката.

Он приезжает раз в месяц и привозит все, что нужно женщинам, начиная с тканей и кончая нитками и иголками. Товары раскладывают на столе в столовой, туда, услышав объявление по местному радио, собираются жены и дети конюхов. Иногда приходит и жена хозяина конезавода.

— Теперь после работы чашечку сакэ будем пить, нарядившись в юката. — Торговец хлопает в ладоши, вынимает из коробки юката и выкладывает на стол. Одного стола оказывается недостаточно. Занимают второй. Торговец, расхваливая свой товар, смешит детей, подзадоривает молодых конюхов, подшучивает над женщинами.

Жена Хякуда не знает, какую ткань ей выбрать: темно-синий касури или колокольчиками. Ей хочется и то и другое. Однако так нельзя. Она решила купить по одному отрезу для мужа и для себя и уже взяла для мужа ткань с рисунком в виде фигур сёги.

Она спрашивает у торговца, какой цвет лучше.

— Как вам сказать... Зависит от вкуса. Колокольчиками благороднее, зато касури молодит и освежает лицо. И то и другое хорошо.

Цена у ткани одинаковая. Она думает выбрать такую, чтобы потом не жалеть. И благородный цвет неплох, и тот, что молодит, купить хочется. Хорошо, если бы ткань была и благородной и освежающей лицо. Но такого рисунка на глаза не попадается. Она решает посоветоваться с мужем, берет оба куска и идет домой.

Хякуда играет в сёги с Тяном, сидя у очага. Тян одинок, живет в амбаре, под крышей, а питается

вместе с Хякуда. Сначала они молча едят, потом выпивают по чашечке сакэ. Потягивая сакэ, играют по одной партии каждый вечер. Тянь обычно выигрывает, Хякуда в лучшем случае сводит вничью, но чаще проигрывает. Потому жена с умыслом выбрала ему сегодня ткань с рисунком фигур сёги — может, принесет ему удачу?

— Посмотри-ка, какое юката я тебе купила, — говорит она, развертывая ткань.

Хякуда мельком глядит на юката и кивает.

— Видишь, какой рисунок?

— Угу.

”Расстроился. Ну ладно, сошью — может, и понравится тогда”, — думает жена и спрашивает:

— Как ты думаешь, какой лучше?

Она показывает ему два отреза. Хякуда снова мельком глядит на них и говорит:

— Оба хороши.

— Скажи, какой мне взять?

— Сама реши. — Хякуда смотрит на шахматную доску.

— Ну скажи. Я одолжила их у торговца, чтобы показать тебе.

Хякуда бросает недовольный взгляд на отрезки.

— Лучше тот, что в цветах.

”Значит, тот, что колокольчиками расписан. Благодарный рисунок. По правде говоря, я тоже его выбрала”, — думает жена.

Хякуда и на этот раз проигрывает в сёги.

В восемь часов последняя кормежка. Выпив сакэ, Хякуда вместе с Тянем обходит все конюшни, прощается с Тянем у амбара и возвращается домой.

Чашка опять наполнена сакэ.

— Что это? — спрашивает он у жены. Она смеется, как девушка:

— Пей на здоровье.

”Чудно! Всегда наливает только одну. А теперь вот и вторую поставила. Впрочем, неплохо иногда

и пару чашек осушить”, — думает Хякуда. Тем временем жена непрерывно рассказывает ему, чья хозяйка что купила, что приобрели конюхи. И сообщив все новости, она идет укладывать детей, галдящих в кухне.

— Скоро радио включат. Спать!

Она выставляет детей в соседнюю комнату и, прибираясь на кухне, слышит голос диктора: ”Дорогие сотрудники конезавода! И те, кто в общежитии, и те, кто в конюшнях. Сейчас девять часов. Пора гасить свет. Сегодня день прошел благополучно. Спасибо за труд”.

Радио затихает, и конезавод погружается в тишину. Издали доносится шум волн.

— Эй! — зовет Хякуда.

”Что это он?” — думает жена. Поправляет мокрыми пальцами волосы и открывает дверь. Муж, убавив свет, уже лежит в постели. Жена мешкает — уж как-то внезапно позвал.

— Чего тебе? — спрашивает она, делая вид, что ничего не понимает.

Хякуда раздражен. Хмурится.

— Я еще не прибралась. Подожди немного.

”Молчит. Рассердился, что ли?” — думает жена.

— Эй! — окликает она его.

Ответа нет. Она зажигает большой свет. Он хмурится, поворачивается на другой бок. Она подходит к изголовью и наклоняется над ним. Он спит. Она сердито толкает его в плечо. Все напрасно. Муж спит крепким сном.

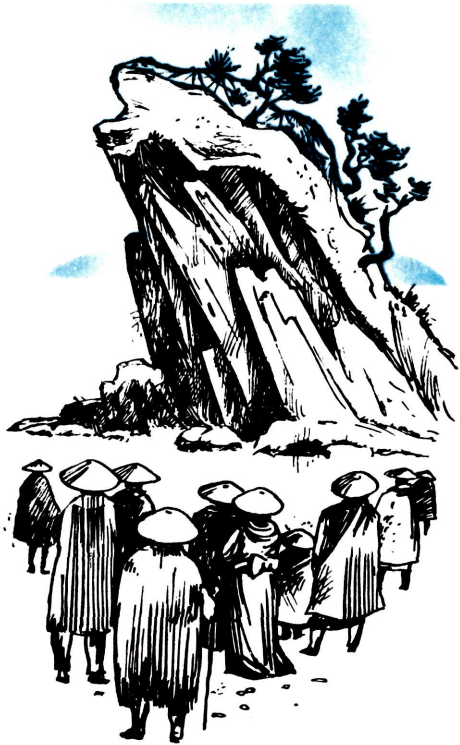
Значит, он просто бормотал во сне? Или она ослышалась?

Жена Хякуда снова убавляет свет и с хмурым лицом возвращается на кухню. Видно, весь июль, пока не кончится горячая пора, придется мириться с этим. Придется безропотно терпеть, раз мужчина так занят работой.

Перед тем как лечь спать, она еще раз достает

купленные обновы. Уж сколько лет не любовалась вот так, пока никто не видит, понравившейся тканью. На мгновение она задумывается: "Надо было бы еще на одно юката купить темно-синего касури", – но тут же укоряет себя за эту мысль. Встает, набрасывает ткань на плечи, смотрится в зеркало, висящее на столбе. Но зеркало совсем маленькое, и она не видит себя во весь рост. "Жаль", – думает она. Открывает окно и глядится в темное стекло. Теперь лучше. Светлая ткань юката смутно, но все же виднеется в стекле. Она опускает ткань пониже, как на ночном кимоно. Оглядывает себя, не спеша поворачиваясь кругом.

Иногда темноту ночи освещают резкие вспышки маяка.



Блуждающий
огонек
I

Сани с ватагой подвыпивших парней, распевавших какую-то народную песню, вынырнули из ущелья, поросшего густым буковым лесом, к озеру, и над тихой озерной водой, окруженной заснеженными горами, разнесся холодный звук колокольчика. Озеро уже стало замерзать

от берегов, и посередине, отражая зимнее небо, темнел лишь небольшой круг воды, значительно убавившийся по сравнению с летом.

Возница в соломенных снегоступах и безрукавке на собачьем меху натянул вожжи и, покрикивая, погнал коня к причалу. Крытые сани, скрипя по снегу полозьями, наклонились, и из повозки раздался пронзительный визг.

В санях сидели трое пьяных парней и две девушки того же возраста, а также молодой мужчина и женщина, неизвестно зачем направлявшиеся в такое время к горному озеру, занесенному снегом. Вскрикнула одна из девушек: когда сани наклонились набок, она съехала к плечу парня, и тот обнял ее.

Все трое были из молодежного кружка поселка Хотару, расположенного на другом берегу озера, и ездили в городок, находившийся в долине, за театральным занавесом для новогоднего вечера. По дороге они зашли к знакомому, где и напились самогона. Сидя вокруг свертка с занавесом, они распевали во все горло песни и перекидывались шуточками, не обращая никакого внимания на незнакомых людей, притулившихся в углу повозки.

За два часа езды от городской станции мужчина с женщиной ни разу не заговорили, только изредка женщина спрашивала у мужчины, укутанного одеялом и лежавшего головой на ее коленях: "Ну как? Не холодно?" Мужчина иногда покашливал под одеялом. Это было легкое покашливание, но, закашлявшись, он долго не мог остановиться.

Заметив, что колокольчик умолк, женщина выглянула из-за полога и легонько потрясла мужчину за плечо:

— Ото-сан! Озеро. Озеро Дзиппэки.

— Приехали? Наконец-то! — Мужчина приподнял голову, но, закашлявшись, снова уткнулся лицом в колени женщины. Она молча гладила его по спине.

Неподалеку от причала утопало в снегу несколько

ко домов. На крышах виднелись вывески сувенирных лавок, но окна были забиты досками, и присутствия людей не ощущалось. У причала, сколоченного из щербатых досок, среди рыбацких лодок стоял небольшой туристский пароходик с облупившимися боками.

Когда сани приблизились к пристани, на палубе пароходика появился пожилой человек в мешковатом бушлате цвета хаки, сшитом, видимо, из армейского одеяла, какие привозили с собой демобилизованные солдаты.

Шла вторая послевоенная зима. Один из парней, схавших в саях, был одет в короткий матросский бушлат, другой в штаны от летного комбинезона, а на шее одной из девушек красовался шарф из парашютного шелка. Возница был в солдатских обмотках.

Незнакомые спутники их сошли позже других — свертывали одеяло. На женщине оказалось синее пальто, черные брюки и мужские резиновые сапоги. С плеча свешивалась полотняная санитарная сумка, в руках она держала большие узлы.

Мужчина, одетый во все армейское, кроме шапки из заячьего меха, расплатился с возницей. Он был бледен, с ввалившимися щеками, лет двадцати двух на вид. Женщина выглядела старше года на три-четыре, но щеки ее все еще были гладкими и тугими. Пока возница считал мелочь, женщина живыми черными глазами поглядывала на потную спину лошади.

Когда они поднялись на пароходик, капитан в мешковатом бушлате с удивлением поглядел на них и спросил:

— В Хотару едете? Мы никуда больше не заходим.

— Да, мы в Хотару. Возьмите нас, — сказала женщина.

Иллюминаторы были забиты досками, а на полу вместо татами лежали рваные соломенные циновки.

Молодые люди, бросив свернутый занавес, ушли куда-то, женщина, так же как и в санях, соорудила в углу каюты постель из одеяла, и мужчина лег. Она хотела закрыть дверь, но двери не оказалось. Женщина укутала мужчину своим одеялом, села, притулившись к стене, и положила голову мужчины к себе на колени.

Пароходик, мелко содрогаясь, отчалил от пристани. Из открытого дверного проема резко потянуло холодным ветром. Женщина подняла воротник пальто и опустила голову. Вошел капитан с хибати в руках. Она была сделана из пустой консервной банки с отдушиной.

— Подумал, пассажирам холодно будет...

Женщина, удивившись, поблагодарила.

— Ото-сан! Хибати принесли. Не погреешь руки? — спросила она.

Мужчина выглянул из-под одеяла, сказал капитану: "Спасибо за внимание" — и снова лег. Видно, ему было трудно даже протянуть руки к огню. Капитан достал американские сигареты и прикурил через отдушину хибати.

— Только такие... Не закурите?

Мужчина хотел было что-то сказать, но закашлялся, и женщина ответила вместо него:

— Не курит он.

— Тут один офицер из оккупационных войск, любитель поохотиться, осенью часто на джипе приезжал, — пояснил капитан. — Только демобилизовались? — заговорил он с женщиной, лежавшим с закрытыми глазами.

— Да, — ответил мужчина, смущенно улыбаясь.

— В каких частях служили?

Мужчина назвал пехотный полк, располагавшийся в городе неподалеку от тех мест. Капитан удивился. "Сын друга детства, служивший в том же полку и проживающий теперь здесь, у нас в городке, давно

уже демобилизовался, вскоре после окончания войны”, — подумал он.

— Что-то сильно задержались.

— У него особый случай, — поспешно оборвала разговор женщина. — Он долго в госпитале лежал. Позавчера только выписался.

— Позавчера? — Капитан с удивлением поглядел на пассажиров. — Это что же, военные госпитали все еще существуют?

— Нет, теперь это государственная больница, но там еще много больных, поступивших во время войны.

— И то правда! Болезни же не могут исчезнуть, даже если армия перестала существовать. Раз вы только что выписались, вам, наверно, еще трудно путешествовать. Тем более добираться до этой холодной дыры Дзиппэки.

Мужчина лежал, закрыв глаза, женщина молча глядела на свои руки, протянутые к хибати.

— Ничего, что вы ушли с мостика? — Женщина взглянула на капитана.

— У меня трое молодых помощников, — засмеялся капитан.

Наверно, пароход вели молодые моряки, которых они видели на палубе.

— Вам куда в Хотару? — спросил капитан.

— В гостиницу Когэцу, — ответила женщина.

— Родственники Тори-сан?

— Какого Тори-сан? — Женщина с тревогой взглянула на лежавшего мужчину.

— Да Торикура-сан! Того, что работает в гостинице Когэцу.

— Нет. — Женщина покачала головой.

— Значит, знакомые его жены?

— Нет.

— Тогда... — Капитан с удивлением уставился на женщину.

— А кроме семьи Торикура, в гостинице разве

никто не работает? — Женщина недоверчиво поглядела на капитана. — Там есть горничная?

— Горничная? Все горничные еще в прошлом году уехали.

— Уехали? Куда же?

— На заработки. Кто куда подались. Горничные из прибрежных гостиниц на зиму уезжают на горячие источники. Да и что им здесь делать, когда гостиницы закрыты.

Женщина явно забеспокоилась. Не спуская глаз с капитана, она легонько тряхнула мужчину, лежавшего у нее на коленях. Тот давно уже открыл глаза.

— Тут, как видите, горы, — продолжал капитан. — Как пройдет листопад, так туристский сезон и кончается. С ноября автобус уже не ходит. А как снег выпадет, сообщения и вовсе никакого нет. Отсюда можно выбраться только на горных лыжах или на тех санях, что вас привезли. Да и сани ездят по глубокому ущелью, только когда ветра нет и снег не валит. Вам еще повезло.

О том, что им повезло, сказал еще служащий на станции в городе. "Как добраться до озера Дзиппэки?" — спросили они у него, прибыв на станцию. "В такое время к озеру? — ошеломленно вытаращил глаза станционный служащий. Но, заметив на углу вокзальной площади сани, курсирующие до озера, сказал, улыбнувшись: — А вам повезло. Попроситесь у возницы. Сани бывают здесь в тот день, когда у причала стоит пароходик, идущий в Хотару. Не знаю только, как вы обратно доберетесь".

Да, им повезло, они едут в Хотару, но какое же это везенье, если там нет человека, к которому они направляются?

— Значит, вы едете к горничной в гостиницу Когэцу, — сказал капитан.

— Да, ее зовут Тэрада Тами. На год меня стар-

ше, — сказала женщина и сдержанно добавила: — Сестра его, Тами-сан.

Мужчина, закашлявшись, поднялся на постели. Капитан подул на огонь хибати, будто только что заметил, что он погас, и, отворачивая лицо от белого пепла, сказал:

— Тэрада Тами... Я не бывал в гостинице Когэцу. Зайдите туда. Может быть, сестра осталась и ждет вас. А если нет, Тори-сан, наверно, скажет вам, где она теперь.

— Надо бы пойти сменить кого-нибудь из молодых, — пробормотал капитан и вышел из каюты.

Мужчина и женщина, устало прислонившись к стене, некоторое время молча смотрели в дверной проем, куда ушел капитан, думая об одном и том же. "Что делать, если Тами и вправду не окажется в гостинице? Куда податься им обоим?"

Они понимали, что должны будут сказать об этом друг другу, если взгляды их встретятся, и боялись произнести это вслух.

Слышен был шум двигателя, плеск воды, шорохи ветра, проникавшего сквозь щели в досках, которыми были забиты иллюминаторы, но было непонятно, в какой стороне озера находится теперь пароходик. Сквозь квадратный дверной проем белели крутые скалы окрестных гор и виднелась темная вода.

— Сима-сан! — позвал вдруг мужчина.

Женщина, вздрогнув, взглянула на него. Он попрежнему глядел в дверной проем. Тогда она перевела взгляд туда же.

— Что?

— Когда ты жила в гавани, приходилось тебе зимой видеть берег с моря? — спросил мужчина.

Немного помедлив, женщина ответила:

— Нет, не приходилось.

— А я видел.

— Ты же рыбак.

- Похоже на эти места.
- Как у нас в Санрику¹?
- Да, когда глядишь с моря.

Берег Санрику был скалист и мрачен и во многих местах круто обрывался вниз.

– В штиль, когда глядишь с лодки на берег, точно такой же вид, как здесь. Очень похоже.

– А я-то подумал, о чем это ты вдруг... – прошептала женщина, но тут же умолкла. Ей показалось странным, что он вспомнил родные места, она улыбнулась, и глаза ее наполнились слезами.

II

Сима и Отодзи были родом из приморского городка в районе Санрику.

Сима была дочерью хозяина рыбацкой харчевни, а Отодзи – сыном рыбака, завсегдагая этой харчевни. В детстве Отодзи с сестрой Тами тоже не раз захаживали туда, но ходили они не в гости, а за отцом, который, напившись в стельку, часто оставался спать за столом, заляпанным соевым соусом.

Отец Отодзи смолоду уже слыл отъявленным пьяницей, а когда родами умерла мать пятилетнего Отодзи, и вовсе спился с кругу. Напившись, он пропадал неизвестно где. Когда отец долго не возвращался домой, кто-нибудь из соседей, видевших его, кричал: "А отец-то ваш опять набрался!" В штормовую погоду хозяйки, возвращаясь из лавок, сообщали: "Ваш отец в бамбуковой чаше бродит". Это означало, что он шатается пьяный по гавани, вроде тигра в бамбуковой чаше.

"Ну вот, опять!" – с досадой думали Отодзи и Тами и бежали на улицу портовых кабаков искать отца. Они обыскивали дом за домом и чаще всего находили отца пьяным в харчевне Сима, хотя, бывало, он торчал и где-нибудь в другом кабаке. У входа

¹ Санрику – северо-восточное побережье острова Хонсю.

в дом Сима висел не веревочный занавес, как у всех, а длинный синий норэн с белыми иероглифами — "Масутоку". Когда Отодзи окончил начальную школу, ему стало стыдно заглядывать за этот занавес. Он думал: "А не презирает ли меня Сима?"

Сима редко выходила в харчевню. Только однажды ее мать сказала о дурной привычке отца в ее присутствии: "Мы торгуем вином и рады, когда у нас пьют, но Ёкити, уходя, всякий раз вытирает лицо занавесом. Сколько бы ни выпил, обязательно вытрется занавесом. Вот я и повесила для него полотенце".

Отодзи покраснел, ему было неловко перед Сима. Она молча улыбалась.

С тех пор Отодзи и стал думать, что Сима презирает его. Однако скоро это перестало его заботить. Осенью, когда он уже учился в средней школе, отец его утонул в море.

Отодзи и Тами осиротели, но, печалась о смерти отца, Отодзи чувствовал в душе и какое-то облегчение оттого, что отец умер, как положено умирать рыбакам, а не погиб от водки.

Сима исполнилось двадцать лет, и она нанялась на работу в гостиницу в большом городе. Отодзи взяли к себе родственники, проживавшие в их портовом городке. Теперь он с нежностью вспоминал и тяжелую руку отца, который при жизни доставлял ему столько неприятностей, и его горячее дыхание, и немного печалился, что не видит ни занавеса у входа в харчевню "Масутоку", ни ее хозяйку, ни Сима. Но, окончив школу и став рыбаком, он уже реже вспоминал и отца, и Сима.

Потом за три года жизни в гавани он дважды встречал Сима в совершенно неожиданных местах.

Однажды, возвращаясь с ночной ловли угрей, он шел босиком по берегу с тяжелой корзиной на плече и, проходя мимо небольшой верфи, у строящейся лодки, каркас которой смутно белел в темноте,

услышал вдруг женский крик: "Пощадите!" Раздался треск разрываемой ткани, и из темноты выбежала женщина в белом юката.

— Эй, Сима, подожди! — окликнул ее грубый мужской голос. Женщина молча пробежала мимо остановившегося Отодзи, чуть не коснувшись его плечом. Не то от дуновения ветра, вызванного ее стремительным бегом, не то от того, что женщина действительно коснулась плеча Отодзи, тихонько звякнул колокольчик на конце короткого шеста, воткнутого в его корзину.

Услышав звук колокольчика, мужчина в спортивной рубашке, гнавшийся за женщиной, остановился, и некоторое время они молча стояли друг против друга, разделенные несколькими метрами темноты.

— Ты кто? — спросил наконец мужчина приглушенным голосом.

— Здешний я, из гавани. С ночного лова возвращаюсь, — сказал Отодзи.

Прищелкнув языком с досады, мужчина пошел прочь, пиная ногами песок, и исчез между лодочными сараями.

"Уж не Сима ли это из харчевни?" — подумал Отодзи с неприязнью и пошел, поплеывая на сторону. Да и голос мужчины был ему знаком. Он припомнил, что это был сын Курихара, хозяина сетей, который учился в институте в Токио.

И еще раз Отодзи видел Сима.

Он решил попытать счастья на чужой стороне и вечером, накануне отъезда на заработки в город Тёси в префектуре Тиба, зашел помолиться в местный храм. Выйдя из храма, он шел не спеша по сливовой роце за памятником павшим воинам и услышал внизу, ниже храмового двора, скрип качелей в маленьком парке. Звуки эти он знал с детства, ничего особенного в них не было, но теперь, когда он впервые в жизни покидал гавань, они показались ему такими родными, что Отодзи подошел к краю

рощи и посмотрел вниз. На качелях развевался подол простого желтовато-зеленого платья Сима.

В парке никого больше не было. Сима одиноко раскачивалась на качелях, и их скрип почему-то тревожил его сердце. Отодзи подумал, что она кого-то ждет. Сразу пришло в голову имя сына Курихара, но он не мог быть теперь здесь — до каникул было далеко.

Странное чувство овладело Отодзи. Сима, которой было уже за двадцать, казалась ему сейчас маленькой девочкой, отвергнутой сверстниками в игре. Это была совсем не та женщина, которая как-то ночью с криком "Пощадите!" вырвалась из рук мужчины и бежала по берегу с разорванным подолом. Та Сима и эта были не похожи, как день и ночь. Непонятная какая-то, подумал Отодзи.

Он пробыл в Тёси без малого три года, и всякий раз при воспоминании о родных местах перед его глазами вставала фигурка Сима на качелях в развевающемся простом платье, а в ушах звучал знакомый скрип. И душа Отодзи наполнялась сладостным чувством. Он не мог подумать, что все это из-за Сима, но образ ее был связан с радостным и светлым миром родины.

Пройдя медицинское освидетельствование перед призывом в армию, Отодзи подумал: не заглянуть ли в харчевню "Масутоку"? Ему захотелось сесть на тот стул под полкой с закопченной "Манящей кошкой"¹, где любил сживать отец, и выпить, как он, чашечку сакэ. Отодзи как-то незаметно для себя возмужал и иногда позволял себе выпить.

Но, вернувшись после долгого отсутствия в этот маленький городок на побережье Санрику, он не застал Сима. Рыбак, который вместе с ним проходил медицинское освидетельствование, сказал, что Сима

¹"Манящая кошка" — глиняная фигурка, изображающая кошку, которая приглашает гостей.

отказалась выйти замуж за сына Курихара и не смогла больше оставаться в городке. Ходили и другие слухи — будто Сима забеременела от Курихара и скрылась из городка, чтобы уладить это дело. У Отодзи отпало желание заходить в харчевню, тем более что в военное время стало невозможным торговать водкой, и "Масутоку" превратилась в обыкновенную столовку, где кормили гречневой лапшой и вареным рисом с овощами. Вместо синего норэна над входом была приколочена вывеска, у двери стояла бетонная бочка с водой на случай пожара, а под карнизом торчал шест для сбивания пламени.

Повестка о призыве в армию пришла в начале весны сорок четвертого года. Отодзи попал в казарму пехотного полка, стоявшего в старинном приамурском городке на западном побережье Тохоку.

Отодзи с детства никогда по-настоящему не болел. На вид он был тонкокостный и худощавый, но тело его, привыкшее к тяжелому труду, было словно скручено из тугих мускулов. В армии его не страшила никакая муштра, страдал он лишь от недоедания.

Однажды летом в сильную жару во время занятий по штыковому бою от голода у него закружилась голова, и, падая, он наступил на учебную винтовку командира подразделения, лежавшую на земле. Командир подразделения избил его. Затем заставил сражаться с ним, выбил из рук винтовку и несколько раз ткнул его, беззащитного, штыком, отчего Отодзи потерял сознание.

С того вечера у него появилась боль в правом боку, за ребрами. Сначала он думал, что это просто ушиб, но боль все чаще давала о себе знать. Снаружи ничего не было заметно, однако самочувствие ухудшалось — мучил жар, тяжесть во всем теле. Есть не хотелось, хотя прежде он всегда испытывал голод. Наконец настал такой день, когда Отодзи не смог подняться с постели.

Командир подразделения неохотно разрешил ему сходить в госпиталь. Военный врач обнаружил трещину в ребре и сразу же положил в госпиталь.

Отодзи полмесяца пролежал в хирургическом отделении. Боль слегка утихла, ему полегчало.

В это время его неожиданно навестила сестра Тами. Отодзи подумал, что она пришла к нему, получив из полка извещение о его болезни, но оказалось другое — Тами добровольно вступила в женский трудовой отряд и едет работать на военный завод в Кавасаки.

— Решила взглянуть на тебя перед дальней дорогой, — сказала она. — Гостиница закрылась. Домой возвращаться не к кому. Вот я и поступила в отряд. Думаю, что снаряды-то делать как-нибудь смогу.

Расставаясь, они не знали, что с ними будет завтра.

— Ну вот, солдат, а плачет! — весело засмеялась Тами, собираясь уходить из палаты.

— Я не плачу. Это из-за болезни, — сказал Отодзи.

— Ребра и глаза, выходит, родственники? Так, что ли?

— Жар у меня. Оттого и слезы.

Тами незаметно оглядела палату, приложила руку ко лбу Отодзи и испуганно отдернула ее.

— Да у тебя и вправду сильный жар!

— Вот я и говорю, что не плачу!

— Разве от трещины в ребре может быть такая температура?

— Не знаю. Боль утихла, а температура все повышается. И дышать почему-то тяжело.

— Неспроста все это. Может, врач не заметил?

— В этом отделении за выздоравливающими глядит только санитар. Температуру и то никогда толком не измерит.

— Какая нелепость!..

Тогда Отодзи подумал почему-то, что глаза

сестры, широко открытые, с тревогой уставившиеся на него, он видит в последний раз.

III

Итак, в гостинице Когэцу Тами не оказалось. И уехала она не на зиму, в поисках заработка, а просто уволилась еще в конце лета прошлого года.

Судя по рассказу супругов Торикура, стороживших гостиницу, уволиться со службы ей посоветовал некий господин по имени Хаяма, который взял ее на свое попечение, еще когда она работала на военном заводе. Связь между ними, по-видимому, продолжалась и после войны. В разгар лета в прошлом году Хаяма навестил ее. Это был привлекательный, как оннагата¹, мужчина лет сорока, похоже, довольно пробивной, совершавший какие-то сделки с оккупационной армией. Очень был респектабельный гость.

Через несколько дней Хаяма уехал, и после этого Тами сказала жене Торикура, что она, возможно, уволится из гостиницы, а когда та спросила, что же Тами будет делать, Тами ответила: "Хочу поехать в город и устроиться на работу. Ведь не вечно же я буду молодой".

Несколько дней спустя Тами получила письмо от Хаяма. Прочитав его, собрала вещи и уехала.

— Точно не знаю, но, кажется, она говорила, что поедет в Кобэ, — сказала жена Торикура.

Отодзи хотел узнать адрес Хаяма, но сразу после войны гостей было мало, и в гостинице Когэцу не завели еще регистрационной книги. Впрочем, даже если Тами и вправду уехала в Кобэ, найти ее там было бы просто немыслимо.

— Сестра ничего не велела передать мне? Мол, напишет потом письмо? Или что я должен обратиться туда-то, если приеду?

¹Оннагата — актер театра Кабуки, исполняющий женские роли.

Супруги Торикура нерешительно переглянулись.

— Говорила, что хотела бы вместе с братом начать какое-нибудь торговое дело, когда накопит денег, — сказала жена Торикура.

Но в июле прошлого года Отодзи получил лишь короткую открытку, и с тех пор никаких вестей не было.

— Если бы все устроилось, адрес-то она бы сообщила. А раз полгода не пишет... Да и что тут ожидать в такой неразберихе. — Торикура подбросил дров в железную печку, поставленную прямо в очаг на кухне.

Отодзи и Сима молча глядели на гудевшую печку, раскалившуюся докрасна. Потом Отодзи сказал устало:

— Извините. Позвольте мне прилечь. Я плохо себя чувствую.

Он прилег на циновку, подперев голову локтем.

— Вы больны. Хлебнули горя, наверно, — сочувственно сказала жена Торикура.

— Отдыхайте спокойно, — добавил Торикура. — Гостиница закрыта, так что принять вас как следует не сумеем, но зато вы можете чувствовать себя совершенно свободно. Постелей сколько угодно, и ванная есть. Располагайтесь не спеша.

Делать было нечего. В тот день они все равно не смогли бы выбраться из поселка у этого вулканического озера. А завтра будь что будет.

Сима помогла жене Торикура принести постели из другой комнаты, и они вдвоем положили их поближе к прихожей. В гостиной с плотно закрытыми ставнями зажгли тусклую лампу.

— Вам можно стелить в одной комнате? — спросила жена Торикура.

Застигнутая врасплох этим вопросом, Сима немного помедлила, но потом сказала:

— Да, можно в одной.

Жена Торикура соорудила два княжеских ложа

рядом. На одно из них лег Отодзи. Измученное болезнью бледное лицо его потонуло в подушке и выглядело старческим.

— Спи крепко, ни о чем не думай, — сказала Сима.

Отодзи засмеялся с закрытыми глазами:

— Мне не о чем думать.

И действительно, Отодзи тут же заснул глубоким сном. Сима посидела немного у его изголовья, потом встала и вышла на кухню. Жена Торикура что-то шила, сидя одна у железной печки.

— Не нужно ли вам помочь в чем-нибудь? Что прикажете, то и сделаю, — предложила Сима.

Жена Торикура, улыбнувшись, сказала, что ни о чем беспокоиться не надо, и спросила:

— Ваш муж уснул?

В первый раз Отодзи назвали ее мужем. Делать было нечего, и Сима ответила:

— Да, крепко спит. Устал очень.

— Трудно ему. Нездоров. Чем болен?

— Астма, — сказала Сима. Она знала, что в деревне как огня боялись чахотки. Жена Торикура тут же сообщила, что ее младшая сестра много лет страдает астмой, и поэтому она знает, какая это неприятная хворь.

— Холод вреден, не правда ли? Что будем делать, если приступ начнется?

— Не беспокойтесь. Я медсестра.

— Привыкли ухаживать?

— Нет, я действительно сестра из больницы.

Жена Торикура удивленно округлила глаза.

— Во время войны в военном госпитале работала. Знаю, как обращаться с такими больными, так что не волнуйтесь. — Сима спокойно улыбнулась.

После захода солнца Торикура пришел сказать, что ванна готова. Отодзи все еще спал. Но если бы он и бодрствовал, то все равно не смог бы принять ванну из-за болезни. Сима пошла мыться одна. Наполнив ванну доверху горячей водой, она намьли-

лась, как вдруг стеклянная дверь раздевалки открылась, и кто-то вошел туда. Прикрывшись полотенцем, Сима обернулась. За туманным стеклом двери виднелась тень Отодзи.

— Отодзи-сан? Можешь войти.

Приоткрыв дверь, Отодзи заглянул в ванную комнату и, смутившись, отвернулся.

— Проснулся, а тебя нет. Куда, думаю, ушла?

— Никуда я не уходила, — сказала Сима.

На Отодзи было два ватных кимоно, а сверху накинуто пальто.

— Извини меня, я решила искупаться. Потом я и тебя оботру.

Отодзи кивнул. Больных, которые не могли принимать ванну, обтирали обычно мокрым полотенцем.

— Холодно. Пойди погрейся у печки.

— Ладно.

Отодзи помедлил.

— Тебе говорят, холодно. В дверь дует.

Отодзи неловко усмехнулся и закрыл дверь.

— Ото-сан!

— Что?

— Я пошутила. — Сима отвела глаза. — Можешь не закрывать.

И, покраснев, она продолжала молча мыться под его пристальным взглядом, как будто была одна в ванной.

Вечером Сима нагрела на печке воду в тазу, отнесла таз в комнату и обтерла Отодзи мокрым полотенцем. Было холодно, и поэтому она проделала все это быстро. Отодзи остался недоволен.

— Что ты так спешишь?

— Но тебе нельзя охлаждаться.

— В больнице ты была более внимательна и обтирала медленнее.

— Тогда, может, вернемся в больницу?

Отодзи молча глядел в потолок.

- Если бы можно было вернуться...
Они убежали из больницы.
— Ладно, здесь останемся. — Отодзи вздохнул.

IV

Когда у Отодзи обнаружили плеврит, из хирургического отделения его перевели в туберкулезное. Сима и в голову не пришло, что это был сын пьянчужки Ёкити. Отодзи сразу же узнал Сима — видел ее и после смерти отца. Сима с тех пор не приходилось встречаться с Отодзи, и она, естественно, не обратила внимания на возмужавшего юношу.

Она не только не узнала его в лицо, ей ничего не сказала и его имя. Помнила, что Ёкити звался Тэрада, но, что Отодзи и есть тот самый Ото, его сын, и не подумала.

Отодзи с первого взгляда показалось, что перед ним Сима, но от неожиданности он никак не мог поверить, что это и вправду девушка из харчевни "Масутоку". Он не предполагал, что Сима может стать сестрой в военном госпитале. Ему и во сне не могла присниться такая встреча. "Уж не обознался ли я, может, это вовсе и не она?" — думал он.

Сначала Отодзи лежал в большой палате, где стояло пятнадцать коек, и он спросил ефрейтора с соседней койки, как зовут сестру, так похожую на Сима.

— А ты приметлив, — ухмыльнулся ефрейтор. — Этого ангела зовут Масумото.

Отодзи опять удивился. Это была фамилия Сима.

Сердце Отодзи наполнилось нежностью. Встретить в армии земляка всегда радостно, а тут, когда болен и одинок, еще приятнее. Отодзи даже прослезился от волнения. Но, хотя грудь его распирало от нежности, он не мог решиться заговорить с девушкой. Не мог, потому что Сима не узнала его с самого начала и к тому же она в своем белоснежном халате, ладно

облежавшем ее фигурку, казалась такой ослепительно красивой, что он смущался и отводил глаза всякий раз, когда видел ее.

Да и связывало их только то, что когда-то, лет двадцать назад, отец его захаживал выпить в харчевню "Масутоку".

Раз в неделю сестры приходили в палату обтирать больных. Отодзи молил бога, чтобы не попасть к Сима. И если случалось все же, что это делала Сима, его охватывала дрожь.

— Холодно? — спрашивала Сима.

— Нет, не холодно.

— Расслабьтесь, почувствуйте себя свободней, — говорила она.

— Хорошо, я постараюсь, — отвечал Отодзи.

Сима видела в Отодзи просто молоденького солдата, такого же, как все, но состояние его здоровья внушало ей серьезные опасения. В правом легком Отодзи стремительно развивалась большая каверна.

Когда в январе Отодзи шел по коридору из уборной, у него хлынула горлом кровь. В ту ночь как раз дежурила Сима, и она, заметив, что сгусток спекшейся крови застрял у него в горле, подбежала и вытащила его пальцами. Отодзи сразу же перевели в отдельную палату.

На другой день вечером, когда она сидела у его постели, он вдруг открыл глаза и, глядя в потолок, спросил хриплым голосом:

— Отправили вторую телеграмму?

Телеграммы отправляли родственникам в случае тяжелого состояния больных. Первая сообщала о болезни, вторая о критическом состоянии, третья о смерти.

— Вам нельзя говорить, — сказала Сима.

Он взглянул ей в лицо, увлажнившиеся веки его дрожали, но в глазах появилась решительность.

— Сима-сан из харчевни "Масутоку"?

Он сказал это чуть слышно, но Сима вздрогнула от неожиданности.

— Вы...

— Мой отец частенько засиживался у вас. Я Ото, сын пьяницы Ёкити.

Сима невольно вскрикнула и поспешно закрыла рот руками.

— Нельзя! Вам нельзя говорить! — остановила она его. Сердце ее сильно стучало.

Кровохарканье прекратилось само собой. Несколько дней спустя Сима сказала:

— Вот уж я удивилась! Ты что, давно уже узнал меня?

Отодзи кивнул.

— Тогда почему не сказал? Почему молчал так долго?

— Не знаю, никак не мог решиться заговорить.

— Но смог же в тот вечер.

— Думал, умру, а перед смертью чего не скажешь. Похоже, я влюбился в тебя.

Для Сима все это было так неожиданно. Ей стало жалко этого парня, который собирался до самой смерти хранить свою тайну.

Давно известно, что милосердие должно распространяться в равной степени на всех больных, но Сима стала вскоре замечать, что руки ее гораздо нежнее обращаются с Отодзи, чем с другими больными.

Когда Сима в свое дежурство присаживалась у его постели, он, глядя в потолок, рассказывал ей о себе. Говорил он так много, что она стала даже беспокоиться, не повредит ли это его здоровью. Отодзи рассказал и о том, как смотрел на нее сверху, когда она в одиночестве раскачивалась на качелях.

— Никак не могу забыть этого и теперь вот помню совершенно отчетливо, — сказал он.

— Почему?

— Не знаю. Не могу забыть, и все.

Сима почувствовала, что жаркая кровь, как в юные годы, бросилась к ее щекам.

— Что ты там делала одна? — спросил Отодзи.

— Думала, не умереть ли мне.

Она улыбнулась горько, как человек, уже немало поживший на свете.

— Почему умереть?

Сима молчала.

— Из-за Курихара? — спросил Отодзи.

Значит, знал. Сима сердито оборвала его:

— Не будем говорить об этом.

— Ты что, действительно выходишь замуж за него?

— Родители так решили в обоих домах.

— А ты?

— А я, вместо того чтобы умереть, стала медсестрой. Решила посвятить свою жизнь доброму делу. Гораздо лучше, чем мучиться с нелюбимым. Окончила школу медсестер Красного Креста и вот работаю здесь. Ну все.

Сима хлопнула в ладоши, будто стукнула в колотушку, как ночной сторож.

Отодзи проболел до лета. Война приближалась к бесславному концу, Б-29 бомбили города, превращая их один за другим в пепелища. Отодзи думал, что не сможет никуда бежать, если их город начнут бомбить.

— Когда будет налет, меня можно оставить, — сказал он.

— О себе только и думаешь. Как бы полегче умереть, — рассердилась Сима.

— Оставайся и ты здесь, — сказал он.

Однако, когда в конце июля, ночью, город подвергся вражеской бомбежке, Сима вместе с другой сестрой быстро положили Отодзи на носилки и отнесли в сосновый бор за госпиталем.

В ту ночь на город обрушился дождь зажигательных бомб, и все небо в той стороне, где был госпиталь, полыхало огнем. Потом пламяхватило и центр.

Отодзи, лежа в ряд с другими тяжелыми больными, глядел сквозь сосновые ветви на багровое небо. Больные молчали, никто даже не кашлянул. Все застыли: кто стоя на месте, кто на корточках, кто лежа.

И в эти минуты молчания Отодзи подумал вдруг, что пришел их смертный час. Совсем скоро они сгортут тут вместе с сосновым бором.

Вдруг кто-то взял его за руку. Рядом с носилками сидела на корточках Сима. Рука ее была горячей. Отодзи понял — он не один. Чтобы убедиться в том, что он жив, Отодзи крепко сжал руку Сима. И тут до его слуха донеслось пение цикад, которое он не замечал до сих пор.

Однажды, когда Сима пришла обтереть его горячим полотенцем, он почувствовал, что прикосновения ее рук к его телу стали еще нежнее и заботливее. Она с любовью долго обтирала его бледную кожу, а потом — будто только что вспомнила — сказала:

— Курихара ушел добровольцем на фронт.

— Когда?

— Еще в марте. Письмом сообщил, приехать времени не было. Хотела промолчать об этом, но вчера, глядя на небо, подумала, что ты должен знать все.

За окном сияло ясное синее небо, совершенно непохожее на вчерашнее.

— Поняла, что все погибнем, — сказал Отодзи. Сима помолчала. Потом мизинцем слегка коснулась его руки.

— Если уж умирать, то вместе с тобой, — прошептала она и, не глядя на него, вышла из палаты.

В середине августа как-то неожиданно наступил день капитуляции, и мир беззвучно перевернулся.

V

Проснувшись утром, Сима никак не могла понять, где она находится. В безмолвную темноту

комнаты сквозь дырку от выпавшего сучка в ставнях пробивался белесый свет. Было тихо. Не слышно ни единого звука. Тишина эта порождала в душе Сима какую-то тревогу. Казалось, пока она спала, ее перенесли в другой мир.

Тут Сима заметила, что рядом кто-то спит. Поняла — это Отодзи и оба они находятся на берегу озера Дзиппэки.

Отодзи крепко спал.

Она оделась, вышла из комнаты и увидела из высокого окна в коридоре снежинки, тихо кружащиеся под карнизом. "А на улице как-то странно тихо", — подумала она и остановилась, пораженная мыслью: если снегопад не прекратится, сани в город не поедут. Тогда не будет никакой возможности выбраться из поселка.

Из кухни доносился запах кипящего соевого супа.

— К сожалению, снег пошел. А вчера, когда спать ложились, звезды на небе высыпали... Погода в горах такая изменчивая, — сказала жена Торикура, резавшая лук у мойки. Снегопад усилился, и сосновый бор за окном, еще смутно черневший, казалось, вот-вот скроется в белой пелене.

— Пойдут ли сани в город?

— В такой снегопад вряд ли. В пути застрять можно, тогда беда.

Похоже, и потом, когда кончится снегопад, сани едва ли сразу отправятся в город — дорогу занесет, поняла Сима.

— Скучно, наверно, будет, но вы отдыхайте себе спокойно, будто приехали в горы к источнику, — сказала жена Торикура.

Поняв, что им вряд ли выбраться отсюда, Сима даже почувствовала облегчение. Если они и уедут на санях в город, деваться все равно будет некуда. Вкусно пахло соевым супом.

— Муж ваш все еще спит? Скоро завтракать

будем, — сказала жена Торикура.

Сима вернулась в комнату. От скрипа раздвигаемой фусума Отодзи проснулся.

— Кто там? А, это ты, — сказал он.

— А ты думал кто?

— Думал, сестра вошла. Я ее во сне видел.

Сима стояла и смотрела на Отодзи — он молча пытался продлить сон.

— Тихо, правда?

— Да, наверно, снег идет?

— А как ты понял?

— Слышно, как падают снежинки, — сказал Отодзи.

Снег шел весь день. Отодзи спал в комнате, выходя только поесть. Сима нагрела воды на печке и выстирала свое и его нижнее кимоно. Иногда она заглядывала в комнату. Отодзи крепко спал. И, глядя на его спокойное лицо, не потерявшее мальчишеское выражение, Сима думала, что за двадцать два года своей жизни он, пожалуй, никогда не был так безмятежно спокоен, как теперь. Может быть, он вернулся во сне в свое детство и встретился там с сестрой, с которой, возможно, никогда уж не увидится наяву. Ей стало горько от этих мыслей.

На другой год после войны, в марте, когда Тами навестила брата в госпитале, был такой же снег. Сима шла по коридору, и к ней подбежала мелкими шажками дежурная и сказала:

— Вот хорошо, что я вас встретила. Пришла сестра Тэрада-сан, а сейчас как раз время отдыха. Я сказала ей, что пройти нельзя, а она требует, чтобы ее пропустили в палату. Что делать?

С ноября того года, как кончилась война, военный госпиталь был преобразован в префектуральную больницу, однако врачи, сестры и тяжелобольные остались и, как прежде, соблюдалась строгая дисциплина. Сима все же поспешила в вестибюль, услышав, что пришла сестра Отодзи. На диване, положив ногу

на ногу, сидела женщина, курившая сигарету. Она была в роскошном зеленом пальто — где только достала? — с распущенными волосами, как будто вышла из бани. Это была Тами, вернувшаяся из женского рабочего отряда. Не только Сима, несколько лет не видевшаяся с Тами, не сразу узнала ее, но и Отодзи не тотчас понял, что женщина с ярко накрашенными и оттого кажущимися большими губами, вошедшая вместе с Сима в палату, — его старшая сестра.

— Ну и залежался же ты! Я думала, тебя давно уж выписали. Никак не ожидала, что ты все еще здесь. Как самочувствие?

— Потихоньку поправляюсь, — сказал Отодзи, хотя в болезни его перелом еще не наступил и к тому времени он совсем пал духом, считая, что ничто уже ему не поможет. Он не знал, когда поправится, и думал, что вряд ли сможет вернуться к тяжелому рыбацкому труду, даже если выздоровеет. Как дальше жить, что делать? Ни солдат, ни рыбак — Отодзи и представить не мог себе свое будущее.

— И все же хорошо, что мы с тобой живы. При смерти ты уже был, так что теперь тебе ничего не страшно. Нужно с толком распорядиться жизнью, которую тебе подарила судьба.

Ободрив его, Тами уехала, сказав, что сообщит адрес, как только подыщет место. Когда кончился сезон дождей, она прислала открытку о том, что работает в гостинице Когэцу в Хотару, на берегу озера Дзиппэки.

”Очень чистое местечко, воздух чистый. Как только встанешь на ноги, приезжай на поправку”, — писала она.

Отодзи, во всем уже разуверившийся, стал с тех пор мечтать о незнакомом озере в горах, как о рае небесном. И поэтому в день побега из больницы, когда Сима сообщила ему, что Курихара вернулся и приехал за ней, он сразу же подумал о тихом озере в горах, засыпанном снегом.

Курихара уже заходил в больницу, сказала Сима, но она, сославшись на занятость, отправила его на квартиру, которую снимала. Все медсестры снимали в городе комнаты.

— Я сказала, что кончу работать в шесть, но я не могу вернуться домой.

— Ну почему же, возвращайся.

— Нет, не могу.

— Что же ты будешь делать?

Сима молчала, закусив губы. Потом закрыла лицо руками и сказала:

— Нет, не могу. Лучше умереть, чем идти к этому человеку.

И она заплакала.

— Я поеду на озеро Дзиппэки.

Эти слова сами по себе сорвались с губ Отодзи. Сима, сжав руки в кулаки, удивленно уставилась на него. И потом сказала спокойно:

— Я тоже поеду. Возьми меня с собой.

Однако, приехав на озеро, они увидели, что "рай", о котором мечтал Отодзи, был засыпан белым снегом, а нужного человека и след простыл.

В ту ночь Отодзи пожаловался на холод, и Сима, жаркая после купанья, прильнула к его похудевшему телу, стараясь согреть его. Отодзи, уткнув нос в ее грудь, сказал:

— Мылом пахнет. Хотел бы я хоть раз вымыться в ванной перед смертью.

Сима помолчала немного, потом сказала:

— Я вымою тебя как следует.

VI

На другой день снегопад прекратился, но подул ветер, и вокруг гостиницы Когэцу целый день бушевала метель. Наутро установилась ясная погода, однако Торикура объявил, что дорогу занесло и сани вряд ли поедут в город.

— Не следует расстраиваться из-за погоды, —

сказал он. — Сегодня в клубе молодежь устраивает вечер. Сходите, развеите скуку.

К вечеру из клуба на холме послышались звуки флейт и барабанов. Торикура, как всегда, спросил из-за фусума:

— Ванна готова, будете купаться? Если соберетесь на вечер, я думаю — не стоит, а то как бы не простудиться.

В комнате промолчали, потом женский голос ответил:

— Сейчас выйдем.

Некоторое время спустя женщина вышла на кухню и спросила, нет ли бритвы. Торикура сказал, что может дать ей свою, японскую, но она не очень острая. Потом он закурил у печки трубку и вышел во двор за дровами. Из освещенной ванной комнаты доносилась тихая песня. Пели мужчина и женщина. Торикура показалось, что он где-то слышал эту мелодию — она чем-то напоминала рыбацью "Песнь о большом улове", — но он так и не вспомнил где.

Приняв ванну, мужчина и женщина вышли из комнаты, тепло укутанные в те же одежды, в которых приехали, и спросили, как пройти к клубу.

— Вы на вечер? А не простудитесь? — спросил Торикура, на что оба ответили, что опасаться нечего. Мужчина был чисто выбрит, и обострившиеся скулы его блестели.

Проводив обоих, ошеломленный Торикура сказал жене:

— Ишь вырядился! А совсем недавно в солдатах ходил...

— Молодой еще. И ты в молодые годы такой же был. Даже вспомнить стыдно! — засмеялась жена.

Однако в тот вечер никто не видел мужчину и женщину в клубе. Не вернулись они и в гостиницу Когэцу. Торикура забеспокоился и пошел в клуб. Вытащил на улицу парней, устроивших пирушку

после вечера, — они обыскали все вокруг, но не нашли пропавших. Тогда в поселке поднялся переполох.

На другое утро стало известно, что ученица средней школы, возвращаясь с вечера домой на окраину поселка, видела на скале Камивари странный блуждающий огонек. Скала Камивари отвесно выступала над озером. Никто не стал бы разводять там костры теперь, среди зимы, да еще глубокой ночью. "Может, это призрачный огонек, проделки лисицы-оборотня? — подумала девочка. — Но лисьи огни не горят зимними ночами". Она вернулась домой в полном недоумении.

Жители поселка побежали к скале Камивари. На льду озера они увидели два неподвижных тела. По-видимому, погибшие бросились на лед со скалы. Женщина лежала лицом вверх со сломанными шейными позвонками. Мужчина — немного впереди нее, на самой кромке льда, головой в воде.

Сначала никто не мог понять, отчего у них лица были черными от сажи. Но когда забрались на скалу, сразу все стало ясно. У старой часовни виднелись следы небольшого костра. Спутники перед смертью разожгли костер и грелись, склонившись над ним. Оттого-то лица их закоптились.

Из одежды на них осталось только то, что прикрывало наготу. Не оказалось ни мужской меховой шапки, ни женского шерстяного шарфа, а в пепле костра нашлись обгоревшие кусочки меха. Значит, они сжигали в костре свою одежду и вещи.

Для чего же им понадобилось перед смертью разжигать костер? Может быть, бросая в костер одну вещь за другой, они хотели хоть немного продлить свою жизнь? Они понимали, что ничто уже не поможет им, и все же настойчивая мысль о том, чтобы как-то еще продержаться на этом свете, влекла их к костру. Но когда уже нечего было жечь и костер погас, наступил конец.

Тела их перенесли в гостиницу Когэцу. Жена То-рикура, вся в слезах, причитала:

— Могли бы и сказать, что хотят умереть. Такие нарядные пошли...

Причитая, она вытерла их лица мокрым полотенцем, но следы копоти от костра, ввевшиеся в кожу, так и остались.

Содержание

- 5 *В. Гришина.* Новеллы Тэцуо Миура:
традиция и современность
- 15 Пресс-папье из окаменелого угля
- 29 Родина в горшке овальной формы
- 49 Я в пятнадцать лет и мое окружение
- 73 Красная юбка
- 87 Пчела
- 97 Револьвер
- 107 Пантомима
- 119 На пастбище
- 145 Блуждающий огонек



ИБ № 1499

Тэцуо Миура

Блуждающий огонек

Составитель Галина Федоровна Ронская

ИБ № 1499

Редактор Е. Руденко
Младший редактор И. Голосовская
Художники А. Анно, А. Черенков
Художественный редактор Н. Щербакова
Технический редактор В. Гунина
Корректор Н. Маркелова

Сдано в набор 28.09.84. Подписано в печать 22.01.85. Формат 70x90/32. Бумага офсетная. Гарнитура Пресс-Роман. Печать офсетная. Условн. печ. л. 6,44. Усл. кр.-отт. 13,09. Уч.-изд. л. 7,3. Тираж 50000 экз. Заказ №973. Цена 85 к.
Изд. № 845.

Издательство "Радуга" Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, 119859, Зубовский бульвар, 17.

Отпечатано с оригинал-макета способом фотоофсет на Можайском полиграфкомбинате Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Можайск, 143200, ул. Мира, 93.